

СТЕНОГРАФИЯ РАННИХ ЛЕТ

ГОЛОСА ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Для меня было когда-то неожиданностью прочесть у Элиаса Канетти, что он в своих дневниках пользовался «видоизменной стенографией, которую невозможно расшифровать, не посвящая этой работе неделю за неделей. Так я могу записывать все, что хочу, не вредя и не причиняя боли ни одному человеку, и, став наконец старым и умным, решить, уничтожу ли я дневник окончательно или спрячу в надежном месте, где его можно будет найти только случайно, в безопасном будущем».

У меня ведь, оказывается, было то же самое! Более полувека назад, отправившись надолго в больницу, я взял с собой самоучитель стенографии по особой системе одного ростовского преподавателя, чтоб на досуге попрактиковаться, — и с тех пор большинство повседневных записей делаю этими едва ли кому понятными закорючками. Кроме причин, упомянутых Канетти, кроме дополнительной, специфично советской опаски, они давали еще преимущество, для которого были, собственно, предназначены: скоропись.

Из таких записей составились уже две моих книги, вышедшие в московском издательстве НЛО: «Стенография конца века. 1975—1999» (2002) и «Стенография начала века. 2000—2009» (2011). В предисловиях к этим книгам я отмечал, что значительная часть моих записей до сих пор остается нерасшифрованной. Прежде всего, это практически все записи, сделанные до 1975 г. Возвращаясь к ним время от времени, я обнаруживаю там нема-

ло интересного, подчас совершенно забытого. Интересны не только встречи и разговоры со знаменитыми людьми, среди которых были мои друзья (в книгах «Стенография конца века» и «Стенография начала века» можно услышать голоса Д. Самойлова, В. Сидура, Г. Померанца, Н. Эйдельмана, Ф. Искандера, Б. Хазанова, Вяч. Вс. Иванова и многих других). Уже поздней в разных изданиях под рубрикой «Разговоры» были опубликованы более ранние мои беседы с В. А. Кавериним, С. И. Липкиным, Г. С. Кнабе. Не менее интересными кажутся мне разговоры с людьми не знаменитыми, не имеющими отношения к литературе.

Общаясь с рабочими, с военнослужащими, людьми разного рода занятий, я узнавал о жизни больше, чем мог бы прочесть в книгах и тем более в тогдашних газетах. Без стенографии я, пожалуй, не записывал бы так много (и между прочим, так точно, по свежей памяти). Записывал, конечно, не без писательской корысти — в надежде использовать потом что-то для своих сочинений. Можно вспомнить, что из таких разговоров, записанных на магнитофон, составлены книги Светланы Алексиевич. Но они у нее готовились и выстраивались под заранее заданную тему. У меня в этом разделе документированы и запечатлены не более чем случайные встречи. Необработанные записи читать сейчас, право же, не менее интересно. Погружаешься в уже порой забытую атмосферу, ощущаешь дух времени.

Начну с тех самых, первых записей 60-х годов, сделанных в Боткинской больнице, где я лежал в мае 1962 г., а потом, после короткого пребывания дома, в июне (меня там оперировали 13.6.62 г.) На первых порах я не всегда ставил даты; многие записи делались для какой-то повести, над которой я тогда работал. Воспроизвожу здесь только некоторые, сделанные в разные дни).

1962, май, июнь
Аркадий Маркович Левин

Мы лежали с Аркадием Марковичем в разных палатах, познакомились в ожидании какой-то процедуры, а потом много разговаривали, прохаживаясь по коридору. Я с особым интересом слушал рассказы этого человека. Он был арестован в 1937-м г. вместе с группой военных, хотя отношение к ним имел лишь косвенное. Муж его сестры, некто Яков Давидовский, комендант Кронштадтской крепости после подавления мятежа, был затем начальником штаба у Блюхера. И когда Блюхер с ним приезжали с Дальнего Востока в Москву, они часто собирались на его квартире, вместе с Корком, Якиром и др., там устраивали попойки. (Они привозили корзины белого хлеба, что в те годы, при карточной системе, было роскошью). О том, что творилось в тюрьмах 1937-го, мы тогда почти ничего не знали. Солженицын для нас еще не появился. Для меня это были едва ли не первые свидетельства очевидца. Хотя кое-что в них требует, наверно, документальной перепроверки, память рассказчика спустя столько лет бывает не совсем точной; об оценках не говорю.

— Я был на допросе вместе с Эйдеманом, председателем Осовиахима. У него были выбиты все зубы и разодрана щека. У меня тоже выбили зубы, — (Аркадий Маркович возбужденно вынул протезы, один за другим), — перебили барабанные перепонки. Да, ... все рассказать — вы не поверите».

Обвинение составлялось так: «Ф.И.О. обвиняется в том, что, происходя из мелкобуржуазной семьи и будучи членом контрреволюционной организации, он хотел убить Сталина», (или взорвать Кремль, или стрелять в демонстрацию) и т. п. Никаких доказательств, только «хотел». А то, что хотел, человек подтверждал сам. «И попробуй не подтвердить, когда тебя допрашивают трое, и один кричит в ухо: «Сволочь!», а другой бьет, третий старается наступить на пальцы и раздавить их каблуком... Э, я не хочу рассказывать, какие способы применя-

лись, вы не поверите. «Признаешься?» — «Нет». Раз! — выбивают зубы. «Признаешься?» Раз! — барабанную перепонку. От одного ужаса можно сойти с ума. Были такие, кто сразу раскалывались, чтобы избежать мучений. И в этом была своя логика. Но ведь, кроме того, что ты признаешься сам, ты должен выдать еще 20 своих сообщников, которых тебе назовут и которых ты в глаза не видел. Некоторые держались. Те, кто помоложе, сильней. Так и умирали. Я тоже ничего не подписал. Был тогда здоровый, спортсмен... Возможно, это анекдот, но говорят, что после каждой подписи Зиновьева с Лубянки выезжали 20 машин.

Кто действительно держался до конца, так это поляки. Их всех сажали. Они ничего не подписывали, так и шли в могилу. Их я никогда не забуду. Вечное мое к ним уважение. Правда, они все были уже пожилые люди, профессиональные революционеры. О, вы не знаете, кто такие были профессиональные революционеры. Это несгибаемые люди, они прошли царскую ссылку, каторгу.

Я сидел в одной камере с Колосовским. Это эсер-максималист, святой человек, я его никогда не забуду. В 1912 г. он покушался на Николая II, переодетый в форму гвардейского офицера. Прошел через всю охрану, которая состояла из текинцев, но буквально за 15 метров от цели (он уже видел царя и его семью, которые пили чай в саду) его окликнули, и он не смог отозваться на пароль. Его сразу схватили, допрашивали. Он назвал себя вымышленной фамилией. Его пытали — он себя не назвал. Со всего Петербурга собрали филеров, сыщиков, дворников, провели его мимо них — никто его не опознал. Он был подпольщик, его не знали. То же в Москве. Наконец, его судили, приговорили к смерти, царь заменил ему смерть ссылкой в Уссурийский край. Оттуда он бежал в Японию, потом в Париж и после революции вернулся в Россию. Он сотрудничал с советской властью (как и все левые эсеры). Это был необыкновенный человек. Право же, вокруг его головы, как у Христа, сиял нимб. Как он говорил! Медленно, спокойно, уверенно. Его расстреляли.

Там было много больших людей. Я сидел сначала на Лубянке, потом в Бутырке... Со мной в камере сидел президент Белорусской Академии наук Горев, председатель Госбанка Марьясин, писатель Стецкий, критик, а потом посол, кажется, в Латвии, Асмус и другие.

Что такое была камера в Бутырке, вы не представляете. Это была комната метров 24, и в ней набивалось до 200 человек. Мы стояли вот так, плечом к плечу, спали по очереди, на нарах и на полу. Ну, а что творилось с парашей, вы и представить не можете. Она переливалась через край, а опорожнялась в 6 утра, приходилось сдерживаться, вот откуда сейчас у многих камни в почках и пр... Но в камере, это было еще ничего, хуже, когда помещали в бокс. Знаете, что такое бокс? Это такая комната, в которой можно было только стоять. Постоишь так суток 10, обвиснешь...

Со мной сидел Черномордик, наш представитель в Коминтерне (Коминтерн весь арестовали)... Так у него из заднего прохода шла кровь. Его заставляли несколько дней сидеть на стуле... Был у нас в камере председатель Уфимской учередилки, дряхлый старик, он все время лежал на полу под нарами, уверял, что всех расстреляют прямо в камере. Один из заключенных, Н., был личным другом Ежова. Однажды в камеру вошел сам Николай Иванович Ежов, во френче, как у Сталина, с охраной. У Н. были перебиты руки и ноги, он не мог двигаться, но тут с огромным усилием вскинул свое тело, подполз к нему и со слезами на глазах стал кричать: «Николай, ты же знаешь, я ни в чем не виноват, ты же знаешь!» Ежов оттолкнул его сапогом и сказал: «Уберите эту мертвечину!»... Еще один знакомый Ежова стучал кулаками в стену и кричал: «Мерзавец! Сволочь! Я его убью!» Стецкий все время стоял у окна и пел тихо (он запел): «Ты меня не жди, моя красавица». Вообще-то у нас петь было запрещено. Но у нас были свои песни (он спел: «Ты моя родная, 58-я», «Летят чернокрылые автозаки»).

Помню одного старого рабочего, с усами, старый революционер, он пришел с допроса потрясенный. Его допрашивала женщина, и знаете, что она ему сказала? «Мы тебя туда загоним,

где ты пизды не увидишь!» Он был потрясен. У него были раздавлены все пальцы, ему их оттаптывали. Но главное — это моральное унижение. Я уже твердо решил, что покончу с собой. К вашему сведению, в тюрьме существует 34 способа самоубийства, детально разработанных, например, самоудушение (заглатывание языка). Хотя это было не просто. Профессор Горев попытался покончить с собой: он с разбега бросился головой на радиатор. Разбил голову, но остался жив. Его расстреляли...

Однажды я не выдержал, схватил стул за спинку и швырнул в следователя. Меня обработали так, что я тогда и сошел с ума. Поместили сначала в больницу Бутырской тюрьмы, потом дело прекратили «за отсутствием состава преступления», выдали соответствующую бумажку... Жена меня устроила на Канатчикову дачу. Вышел оттуда, потом устроился на работу в одно учреждение. Меня не хотели брать, но начальник, умный старый партиец, сказал: «Под мою ответственность»...

— В моем доме жил один крупный работник ГПУ, я его встречал на допросах. Увидел меня и схватился за голову: не может быть! Такого не может быть, оттуда никто не выходит... Он сейчас не работает в органах, перешел на какую-то работу в санинспекции, теперь на пенсии. Там мало осталось старых сотрудников, сменилось два-три состава. Но пенсии они получают большие, очень большие. Вот этого я не понимаю. За что? Ты натворил дел, так будь благодарен хотя бы за то, что тебя не расстреляли. Но повышенная пенсия! Я этого не понимал. И один мой знакомый мне объяснил: «Неужели ты не понимаешь? Их берегут, они еще понадобятся. Еще будут нужны заплечных дел мастера»... Это звери. Хотя я на них никакого зла не имею. Вы не поверите. У меня все отошло. Я понимаю, они были только пешки в страшной игре

А я только песчинка в грандиозной драме, которая постигла страну. Через одного меня прошли тысячи человек, ну, как здесь, в приемном покое. И какие это были люди! Что я! Это был интеллектуальный цвет страны. Профессора, писатели, ста-

рые большевики. Святые люди!.. Если бы не тюрьма, я не достоин был бы сидеть у таких людей в прихожей...

Я мог бы многое рассказать. Я веду дневник с 29-го года. А отдельные записи у меня с марта 1917». — «И вам удалось его хранить даже в эти годы?» — «Да. Пусть бы мне голову отрезали, я бы не сказал, где его храню. Правда, люди, у которых он хранится, могли бы сказать. Но никто не догадается про них. Это такие древние старики. А там много интересного, и никто этого не напишет. Из тюрьмы я вынес рубашку, на которой записал несколько сотен фамилий. Мне удалось пронести... Я сейчас много работаю. Надо успеть многое сделать. Если не я, то некому. Умирают уже те, кто все пережил. Да и кроме того, мне надо выполнить долг, завещание. Один товарищ, с которым я сидел, завещал мне тему рассказа. Называется он «Кого-нибудь». Я могу рассказать содержание, оно очень простое. (*Опускаю пересказ. История происходит во время гражданской войны, надо найти виновных в гибели людей, чекист приходит к выводу, что никто не виноват, «некого брать», начальник отвечает: как некого? Возьми кого-нибудь*). Человек, который завещал мне этот сюжет, сам был участником этих событий. Это представитель ВКП(б) в Коминтерне, его фамилия Черномордик...

— Сталин был не дурак, он все резолюции о расстрелах заставлял подписывать всех членов Политбюро. У них у всех рыльце в пушку. Сейчас Хрущев делает вид, что он чуть ли не жертва Сталина, что он с ним боролся. Чушь!... Один мой знакомый выразился так: представь, что тебе в ресторане подают чудесное блюдо, на золоте и фарфоре; но у официантов проваленные носы и сифилитические язвы на руках. Ты станешь из этих рук брать хоть самую лучшую пищу?... Вы поняли мою мысль?... Хрущев очень умный человек и отличный организатор. Он недаром учился у Сталина, вертелся возле кухни. Поварята тоже кое-чему научились...

Он работал когда-то в Оргбюро ЦК, в отделе организации труда, под руководством старой большевички Елены Федоров-

ны Розмирович. Они изучали принципы организации производства; он участвовал в разработке правил, индексов, учета, документации и т. д., в организации Шарикоподшипникового завода, первой очереди Березниковского комбината...

— Что будет после Хрущева?... Самый реальный выход — диктатура. Помянете мои слова: Сталин начал расстреливать через 10 лет после прихода к власти... А потом наступит реакция со стороны народа. Я знаю, что в разных слоях зреют сильные гроздыя гнева... Я даже рад, что моих соплеменников нет в руководящих органах. Ни в одном обкоме, ни в одном исполкоме больше нет евреев. Так что если что-нибудь случится, то не будет опять вынут старый заржавленный русский меч...

Нас было у отца 13 детей. Мой дед был рабочий, столяр-краснодеревщик. Мы жили в Витебске, в черте оседлости. Все мои братья и сестры участвовали в революции. Быть революционером считалось доблестью. К тому же в этом была романтика. В 1920 году я попал в город Ч. (*название неразборчиво* — М. Х.) На город напала банда атамана Григорьева, перебила красных и устроила кровавый еврейский погром. Затем к городу подошел полк имени Троцкого и полк мадьяр, выбили атамана Григорьева. И я вступил в отряд ЧОН, был заместителем начальника части. Потом был в отряде по борьбе с бандитизмом. Моя сестра, белошвейка, была знаменитой революционеркой, социал-демократом, искровкой. Ее защищали на процессе Керенский и Зарудный. Она отсидела несколько лет в Варшавском равелине.

Жена у меня была русская, дочь священника, тоже замечательная женщина. Она была военкомом (женщина!) отряда, который подавлял Кронштадтский мятеж, четыре раза проваливалась под лед. Теперь она не хочет этого вспоминать, не понимает, зачем все это делала...

В одно из воскресений 1952 г. я вместо того, чтобы отдыхать, как все мои соседи, позвонил в справочное бюро и узнал, какие курсы работают по воскресеньям. Мне сказали, что работают курсы пчеловодов и фотографов. Я записался на курсы

пчеловодов. Сдал на отлично теорию и практику. Из всех курсантов только двое, я и еще один мой товарищ, входили к пчелам без сетки. Правда, вначале мы ходили опухшие, но потом это стало совсем безопасно. Через 8 месяцев я получил диплом, а еще через 2 месяца поступил на курсы фотографии. Там я тоже сдал на отлично теорию и практику. Делал я это с одной целью: я ждал, что мне придется перейти на нелегальное положение, как еврею. Вы же знаете, что вслед за процессом врачей должна была произойти гигантская провокация, выселение всех евреев из центров, а затем Сталин хотел довести войска до Ла-Манша. Общественным обвинителем должен был выступить Эренбург. И я готовился к тому, чтобы уехать, жить где-нибудь в уголке, с чужим паспортом, слегка изменив внешность. Но этого делать не пришлось...

Песня, которую мне напел А. М.

Летят чернокрылые автозаки
В московской ночной тишине,
Летят на Лубянскую площадь
К кровавым стенам МГБ
Везут в них любимых народом
И партии верных сынов,
Везут в них борцов за свободу,
За счастье, за дело отцов.
Пытают их в темных подвалах
И кровь их реками там льют,
Но Ленина знамя святое
Ежову они не дают.
Их жен и детей высылают,
Родителям жить не дают,
Но Ленина знамя святое
Ежову они не дают.

Припев:

Ты моя родная 58-я,
Вечная ты спутница моя.

Из анекдотов, которые рассказывал мне А.М.:

Когда кончился НЭП, нэпманов стали высылать из Москвы. Нэпман Канторович встревожился. Пошел к адвокату и тот ему дал совет. Он написал в ГПУ письмо: «Нэпман Канторович хочет бежать из Москвы, примите меры». На другой день его вызвали и взяли подписку о невыезде.

После сталинского указа 1947 г. о недоносительстве (бесprecedентного в мировой юридической практике) Канторович прислал в Москву телеграмму: «Вся Одесса ворует. Снимаю с себя ответственность».

Канторович решил кончить жизнь самоубийством, взошел на Эйфелеву башню, посмотрел вниз и сказал: «Об спрыгнуть не может быть речи, помогите сойти».

Поспорили, у кого лучше химия. Француз сказал: «У нас из воды делают духи. Не понравилось — плюнем, дунем, снова вода». Американец: «У нас из свиней делают сосиски (то же продолжение). Русский: «Что у вас! У нас: берем навоз, плюнем, дунем — министр. Не понравилось, плюнем, дунем, опять навоз».

Из других разговоров в больнице:

...6.62. *(приблизительную дату нетрудно уточнить)*. Сегодня врач из Шахт рассказал мне, что на Дону происходят кровавые события. Восстали казаки и шахтеры. Волнения связаны с повышением цен на мясо и со снижением ставок горнякам. Уже три дня нет добычи угля. Ему сказали об этом перед операцией, сейчас он беспокоится за родных.

(Еще из разговоров, без даты)

Сосед по палате, Коля: «Почему мне нельзя делать операцию?» — «Ты слабый». — «Ну и что? Дохлые кошки дольше»

живут. Знаешь, какие они живучие? Или гнилое дерево. Скрипит, скрипит, а стоит дольше всех».

«У тебя жена толстая?» — «А что?» — «Толстые добрые».

В 12 часов Коля попросил: «Поставь мне грелку. У меня ноги холодеют». В 4 часа он умер.

Г.: «Я уже думал: может, для таких лучше умереть? Ведь разве это жизнь? Это существование. Все его дразнили»...

Юра Братишка тяжело просыпался после наркоза. Стонал, скрежетал зубами, (как будто проводили ножом по зубьям расчески). Когда открывал глаза — взгляд мутный, желтый, невидящий. Дышал тяжело, как будто тонул. Очнулся: а, это ты, Марк. Попытался бодро улыбнуться — и опять в забытьи. (Потом рассказывал: вижу тебя, и тут же ты удаляешься, расплываешься). Часто-часто мотал головой, то и дело спрашивал: «Сколько минут до звонка из Небит-Дага?» — «Если позвонят, что передать?» — «Передай.., — и уже забыл, о чем говорил. — Передай привет всем живым». И опять ничего не слышит. От него сильно пахнет эфиром. И хотя он ничего не сознает, когда ему говоришь: открой рот и дыши глубже — он слушается. По вискам на подушку текут слезы, во рту пузырится слюна.

Потом спрашивал: я не кричал?

Из более поздних записей, 1966—68 гг.: когда я долечивал свой туберкулез почек в Крыму, в алушкинском санатории «Солнечный». Туберкулезники в советское время пользовались, надо сказать, немалыми привилегиями, в санаторий посылали бесплатно и не на один месяц. Мои собеседники — такие же пациенты, экскаваторщик, грузчик, шахтер. Художница Тамара Андреева в связи с болезнью получила в Алушке жилье, мы с ней потом переписывались, она присылала мне свои рисунки. К сожалению, ее давно уже нет в живых.

И заключительный разговор — с попутчиками в поезде «Верховина», Львов—Москва.

1966, ноябрь

Костя Аганесов, экскаваторщик из Туркмении, 1928-го года рождения:

— Я не могу, Марк, понимаешь? Я пойду работать. Здесь возле Мисхора дорогу ремонтируют, экскаватор работает. Пойду, попрошусь на экскаватор. Им экскаваторщик нужен. Хоть по три часа в день буду работать. У меня душа болит, понимаешь? Ребята сейчас костер развели, рыбу ловят в канале. На глиссере можно покататься, на катере... Конечно, врач не разрешит мне работать, но я без спроса буду уходить. Какая марка, для меня не имеет значения, лишь бы называлось экскаватор. Я на всех марках работаю...

Я в Каракумах работал. Первая очередь канала, самая трудная. Вода ржавая. Я такую простыню — видишь? — в четыре раза складывал, через нее воду пропускал и пил. Но я знал, что за эту работу получу деньги, приду домой и могу жить. Если я получу за свою работу — я согласен работать, как угодно...

Вот я тебе расскажу, как у нас сделали одного Героя Соцтруда. Не было бы обидно, если бы я его не знал. А то я же его выучил работать на экскаваторе. Он был мой помощник — такой лентяй, не хотел работать. Бывало, просидишь 12 часов за рычагами, даже не 12: с 6 утра у нас начиналась смена, и в 8 вечера мы кончали, устанешь, скажешь: я немного посплю, садись, поработай. Через полтора часа он приходит: Костя, что-то у меня не получается, портится машина... Просто не хочет работать. Наконец, я его прогнал: ты, говорю, уже сам машинист, иди. А потом ему дали Героя! Почему? Потому что туркмен, национальный кадр. А я армянин. Я тебе могу по пальцам пересчитать всех экскаваторщиков, не только на канале — в республике, которые зарабатывают много, сколько я. Несколько человек. А остальные — 230—240 рублей...

Я жену поставил на ногу, я тещу поставил на ногу — всех поставил на ногу...

— Когда туркмен бедный, у него одна кошма и жопник, которым чайник накрывают, он сидит вот так (показывает на стуле). Когда становится богаче и у него уже есть ковер, он обе ноги под себя поджимает, сидит вот так. Когда совсем богатый становится, он вот так сидит (обе ноги поджав, откинувшись назад) и чай пьет.

Аргумент в споре о Сталине. «Как же ты споришь? Ты фильм смотрел? Видишь, как в фильме показывали? А ты споришь».

«Ты говоришь, Сталин не был на фронтах? А мой друг, Вася, шофер, видел Сталина в госпитале»...

1967, сентябрь

Санаторий. Разговоры в палате:

Опять я завел в палате разговор о политике, взбаламутил людей и сам разнервничался. Но, в общем, я доволен. Разговоры долгие, жаль, не смогу всего записать.

Начали мы с одним шахтером из Кривого Рога, Григорий Сторчевой его зовут.

— Я работал машинистом дробилки — руду дробил. Машина работала так плохо — оставались куски сантиметров на 50, грохот не пропускает. Приходилось кувалдой дробить. Приходит начальник. Я говорю: что делать? — Ну, ничего не поделаешь. Я говорю: А если вам в рот 300 грамм колбасы лезут, а я вам полкило захуярю? Он крикнул: дурак! И пошел.

Обозлен на эту жизнь. «Мне 46 лет, а что я хорошего в жизни видел? Голод, холод, нищету? Дед мой был на засылках (в ссылке), отец сгнил на работе, должен же я лучше жить?»

Рассказывал, как его впервые схватила боль в пояснице, и он даже лег. А проходивший мимо главный инженер пнул его ногой: ты что разлегся во время работы? Напился? И, не слушая объяснений, заявил, что уволит его с работы. И действительно, по почте прислали ему трудовую книжку; а он тогда уже слег в больницу. Но юрист его заверил, что он с этого главного инженера получит все до последней копейки, пусть себе отдыхает и лечится.

Как он добивался квартиры, получив на работе травму. Ему на голову высыпалась порода, когда он работал на дробилке. Схватил в свои костыли коменданта. А до этого женщину в Собесе, а до этого врача, который отказывался ставить его на инвалидность. Я представляю, как он замахивался на них костылями в страшной злобе, а потом падал без чувств от нервного перенапряжения. Но комнаты он только так добился, и пенсии добился. (Пенсия и зарплата у шахтеров, по его словам, мизерные; профессиональной болезнью считается только силикоз)...

Как дочка его поступала в институт. Провалилась и поступила лишь на следующий год, когда он дал взятку, кому надо. Он работал на всех возможных работах, был бурщиком (так он произносит бурильщик), был крепильщиком, дробильщиком, машинистом и т. п...

Рассказывал мне все это и бушевал насчет несправедливости начальства, насчет продажной жизни, насчет того, что партия наша — лживая партия. А я его подталкивал вопросами дальше: ну, а в чем же причина? — А в том, что наверху сидят говнюки. — Ну, а почему бы их не сменить? — А что мы можем? — А почему же мы не можем? — А я скажу, — наконец, выпалил он. — Потому что однопартийная система. Если бы было несколько партий, и он бы знал, что его не выберут, что я его провалю. — Ну вот, видишь, — говорю я. — Ты сам все понимаешь, как академик. — А что, — волновался он, — я, ко-

нечно, только свои шесть классов кончил, но у меня голова от мыслей во как пухнет...

Рассказывал мне про восстание в своем Кривом Роге. Там милиционер прогонял с переулка бабку, которая торговала подсолнухами, наконец, пнул ее ногой. При этом оказался рабочий, вроде бы из заключенных, которых много было на рудниках. Накинулся на милиционера, подоспели еще три милиционера и еще рабочие. Милиционеров всех четырех убили, заняли здание милиции и подожгли его, не выпуская тех, кто выпрыгивал со второго этажа. Потом еще народ подошел — а кинооператоры и фотографы все крутили на пленку, запечатлевали лица. Потом вызвали войска, азиатов, как говорил он, они ничего не слушали, били пряжками от ремней, иногда это получалось насмерть... В общем, с десятков убили и много сотен посадили. Одновременно были события в Одессе и Николаеве; там моряки отказались грузить масло за границу — а у них самих масла не было. Это было в начале осени 64-го, перед самым снятием Хрущева.

Много подробностей рассказывал. Как он стоял у ларька и пил пиво, а милиционер его стал похлопывать только что полученной резиновой дубинкой, демонстрируя ее, и как он огрызнулся: еще хлопнешь, я у тебя ноги из жопы повыдергаю!..

Микола Марченко из Белой Церкви:

— Приходит цемент, еще хуже, известь. Глаза залепляет. Я надел респиратор, так чуть не задохнулся. Говорю: не буду разгружать. Вы мне обещаете 5 рублей премии, а я за это разгружать, да еще в срочном порядке? — Тогда мы тебя рассчитаем. — Рассчитывайте. А кто будет работать, если рассчитают? И я их всех заставил. И начальник, и все прорабы, и начальник снабжения — все разгружали. Себе премию — 100—150 рублей, а рабочему, чьим горбом все делают, 5 руб. Так я никогда премию не получал. На хуй мне эти 5 руб. Чтобы они потом себе записали, что мне дали премию...

Пришла смола в ковшах, 4 секции. Пришла в понедельник, главный инженер мне говорит: ну, Микола, разгрузай. Я говорю: что, цемент или известь? — Нет, смола, дело почище. Я говорю: давайте 20 руб. за каждую секцию, к вечеру постараюсь. (Мне один человек, который с котлами ездит, посоветовал: ты с них деньги возьми. Если дадут, я знаю, как сделать; а не дадут, будут три дня копать). Говорят: не можем. — Ну, тогда не буду разгружать. А дело в понедельник, они за каждые сутки простоя 50 руб. платят. — Тогда мы тебя рассчитаем. — Рассчитывайте. А рассчитать не могут, другого же никого нет. Ну, торговались, торговались, согласились на 15 руб. Я получил 60 руб., пошел к машинисту, дал ему тридцатку, тот паром котлы разогрел (специальные такие вагоны-смоловозы, сами опрокидываются), и опрокинул все котлы, вылил всю смолу на землю, и заняло все это 2 часа. Начальник хитрый, а рабочий всегда хитрей. А если бы они сами пошли к машинисту и не дали бы ему 30 руб., пришлось бы три дня долбить смолу.

Жена была больна, я специально отложил на похороны 300 руб. Считаю: 60 руб. на одну музыку, потом, гроб 20 руб., потом человеку, который яму копает, тоже платить надо. Потом после похорон обед, потом ужин, потом на другой день... И 300 рублей как не бывало.

А потом к разговору подключился один партиец, работник горисполкома, 45 лет, но уже с сединой, по его словам, много испытанный. Рассказывал, как по своей глупости попал в концлагерь (так выразился, но это место осталось темным). Как в 28 лет работал грузчиком и одновременно учился в 8-м классе вечерней школы, вечером, потаскав за день 60 тонн груза. Как грузил какие-то грузы для китайцев, сутки по пояс в ледяной воде. Как поспорил с товарищем, что пронесет на спине 200 кг соли по винтовой лестнице из трюма, но вместо железной ступеньки одна оказалась деревянной, он провалился и повредил позвоночник. Как после этого поступил в один институт (Народного хозяйства) — не потому, что этим интересовался, а потому что легче было поступить, и после этого кончил другой институт.

«Я понял, что без образования никакой дороги не будет, только грузчиком». Как потом был во Франции и ФРГ с какими-то делегациями...

Так вот, в ответ на все разговоры он развил свою совершенно определенную теорию: все, что у нас есть плохого — это от действий пятой колонны, шпионов, вредителей, следствие экономических диверсий. От этого все. «Этот подлец, который сидит в собесе, а может, и в правительстве — он, может быть, сам и не пятая колонна, но он не замечает, как его окрутили, как используют для своих целей», — «И много таких вредителей?» — «Во всяком случае, десятки тысяч» — «Откуда же они взялись?» — «За 50 лет много успели заслать. И во время войны многие оставались на оккупированной территории». — «Как так? Значит всякого, кто оставался на оккупированной территории, следует обвинять во вредительстве?» — «Ну, не всякого. Но я вам скажу, что я знаю одного, он во время оккупации был полицаем. Отсидел 5 лет, вернулся и сейчас занимает высокий пост, заправляет делами, и такое вредительство приносит! Я знаю, что подлец, но под него сразу не подкопаешься». — «Так что же делать, если у нас и вправду действует такое количество диверсантов?» — «Сделать можно. Только не в лоб, а хитростью. Нужно к нему войти в доверие, подладиться под него, действовать, как он, проникнуть в его образ мыслей, а потом — раз! — разоблачить. Не думайте, что ничего не делается. Скоро придет час, всю пятую колонну разоблачат, и тогда все станет в порядке»...

— Ну, зачем же так далеко искать причины? — Григорий Сторчевой опять перебил разговором о сельском хозяйстве, о том, как отбирали коров и не было молока, а теперь самая лучшая корова на рынке стоит 200 руб., а есть и по 60-80 — и никто не берет.

Я спросил: «Ну, почему же, когда сказали глупость, никто не имел права возразить?» — «Так это опять же экономическая диверсия. Кому-то это было выгодно. Я не скажу, что Хрущев сам сознательно действовал, как вредитель, но в его окружение пробрались разные жучки, и к Сталину так пробирались, он

в них не разобрался, и сейчас пробираются вокруг руководства. И вот он сам, не замечая, плясал под эту дудку. А вы знаете, за что Хрущева сняли? Я вам объясню. Наша разведка в Америке перехватила снимки с нашего ракетного полигона, снимок был явно сделан из-под мышки руки Хрущева. Значит, за ним шпион прятался». — «Ну, это же глупости, сплетни, — не выдержал я. — Это на базаре бабы рассказывают. Об охране ракет должен заботиться КГБ, и за это дело их нужно снимать, а не Хрущева. Но если было так, как вы говорите, так это еще хуже. Значит, его сняли не за те беды, которые он принес народу, не за все его провалы, а из-за случайности, и если бы не попалась эта фотография, он так бы и остался. Разве это хорошо?» — «Ты очень многого не знаешь, ты еще молод, а я — вот, — он показал на свою седину. — У нас был один секретарь парткома, ужасный гад, и ничего не могли с ним поделать, всю власть себе забрал. Наконец однажды мы докопались: он пишется как русский, а на самом деле крымский татарин». — «Ну и что, что татарин?» — «Как ну и что? Он имеет высшее образование, у немцев служил, столько жизнью загубил». — «Ну, значит, дело в том, что у немцев служил, а не в том, что татарин». — «Нет, — говорит он, — вам меня не победить и не сбить». — «Я вас и не пытаюсь убедить, я хочу доискаться до причин». — «А кого же ты хочешь убедить? Вот этих?» — Показал на Григория Сторчевого и еще одного. — Так что их убеждать? Они темные, необразованные, они слишком многого не знают».

Это он сказал напрасно, потому что они возмутились. «Я, может, не образован, — сказал Сторчевой, — но я жизнь знаю». — «Нет, я ничего не хочу сказать, но раз ты не получил образования, значит, ты чего-то не додумал. Я рассказывал, я сам грузчиком работал, 60 тонн в день на спине переворачивал, и все-таки кончил два института». — «А если он не кончил, то почему?» — «Ну, потому, что не додумал, по глупости». — «И условий не было». — «Какие там условия, я же вам рассказывал, с чего начинал». — «Так что, если не все сумели получить образование, как ты, значит, сами дураки?» — «Да».

После этого симпатии к нему заметно упали, и к моим доводам стали относиться с большим уважением. Добавилось еще и такое: «Ты хочешь сказать, что чем-то недоволен?» — «Я многим недоволен». — «А я нашей жизнью очень доволен и считаю, что мы живем все лучше и лучше. Разве ты сейчас плохо живешь?» — спрашивает Сторчового. «Конечно, плохо. А с чего же можно жить хорошо, когда даже в кино не на что сходить?» — «Ну, это ты загнул». — «Да что загнул? — вступил другой. — Вот у меня по инвалидности пенсия 37 руб., и все. На 37 руб. разве можно прожить?» — «Ну, значит сволочь тот, кто тебе такую пенсию назначил, только и всего». — «А откуда же он взялся? Он же не из своего кармана платит?» — «Опять же, экономическая диверсия»...

Потом, когда мы вышли вдвоем во двор, он — то ли считая, что со мной можно говорить как с более понимающим, чем они, продолжал свои доказательства. «Ты все-таки многого не знаешь. Вот, у тебя почки нету, туберкулез. Ты думаешь, отчего это?» — «Ну, отчасти от неважных условий». — «Да ты и не знаешь, отчего. Может, тебе пищу отравили, вместо нормального жира китовый комбижир давали. Я (между нами говоря) с общественным питанием имел дело — что там творится! Вот случай, расскажу тебе. Вызывают меня в КГБ, там случилось, что 60 человек отравилось неизвестно чем. 60 работников КГБ. Я прихожу, смотрю блинчики, которые они ели. Ничего не поймешь, только пахнет какой-то гарью. Я смотрел, нюхал и, в общем, понял: повариха мясо недоварила, а это самый яд, потом пережарила и все это закрутила в блины, подала». — «Что-то не пойму, — сказал я. — Она с этого имела какую-то выгоду? Может, на масле сэкономила?» — «Вот ты всегда не дослушаешь и перебиваешь. Нахватался знаний... Послушай. Я вызываю повариху, спрашиваю: вы откуда родом? — Из деревни. Работала судомойкой, потом меня выдвинули в повара. Образование четыре класса. — Русская? — Да. — На оккупированной территории не были? — Нет... И тут я сказал одно слово, и все стало ясно: она мадьярка. Проверили: точно. Была мадьярка, скрыла это, сказала, что русская. У нее высшее образование, она была

на оккупированной территории... Понимаешь? И 60 человек в КГБ отравила». — «До смерти?» — «Зачем же до смерти? У них печеночная рвота была. А ты говоришь...

У меня был один друг, гений нашей разведки (он назвал фамилию, но я забыл), трижды герой Советского Союза. Три раза ходил в пекло и три раза возвращался. А после войны спился и умер. И знаешь, в чем дело? Оказалось, к нему жену подослали. Жена оказалась завербована. Его друзья говорили: жена на тебя плохо влияет. И вот он от обиды, что она на него плохо влияет, стал пить и спился. А она до сих пор в прокуратуре работает». — «Постой, как же это? Если ее подослали, почему ему про это друзья говорили, а не органы, которые должны были разобраться?» — «А ты думаешь, в органах мало пятой колонны?»

«Вот я знаю одного старого большевика, члена партии с 1905 года... Так мне плевать, что он с 905-го года, я вижу, что он меченый». — «Как меченый?» — «Ну, метка у него такая есть, понимаешь? Такая штука, по которой в определенной организации друг друга узнают». — «И что, эту штуку можно заметить?» — «Можно, кто знает». — «Так получается безвыходное положение? Вы, коммунист, знаете и это терпите?» — «Ничего, придет время. И довольно скоро придет. Всех их расстреляем без суда и следствия». — «Ну, суд и следствие стоило бы оставить, и с обязательным правом на защиту». — «Да он такой образованный, что не любому юристу с ним справиться»...

Тамара Андреева, художница:

— В 50-м году я кончила только 7 классов, и умерла мама, мы остались совсем одни с сестрой Людой, в длинном сером бараке, в котором было полно тараканов. Когда приходили вечером и зажигали свет, все было ими облеплено: стены, подушки... Была еще старшая сестра, но она была замужем, у нее была своя семья, трудно было ее кормить. Люду взяли в детдом, ей было тогда 12 лет, и она была здоровая, а мне было уже 14 лет, там держали только до 15, брать на один год не было уже смысла.

Да, может, и был, но у меня был пневмоторакс на обоих легких (меня уже поддували в обе стороны). Один год я проучилась в лесной школе, в Барнауле, а потом вернулась в Рубцовск. Я одну за другой продала все вещи: стол, стулья, кровать, а когда остался один абажур, который висел в голой комнате — делать уже было нечего. Сестра мне дала денег на дорогу, и я уехала в Москву. В Москве жил мой брат (он и сейчас там живет).

Я давно мечтала попасть в Москву. Мне казалось, что если я только увижу Москву — то буду самым счастливым человеком на земле. Вот была дура, чего мне надо было в Москве? Теперь бы я ни за что туда так не стремилась. А тогда я собирала открытки о Москве. Я давно туда собиралась. Но на мои телеграммы брат отвечал телеграммами: не выезжай, жди письма. А в письме каждый раз было написано, что он в этом году уезжает — то на Рижское взморье, то на Кавказ. Жди до следующего лета. А теперь мне нечего было делать. Я поехала в Москву и решила поступать в Строгановское училище. Без всякой подготовки — такая смелость бывает только в 16 лет, сейчас я бы ни за что не решилась.

В Москве мне однажды нужно было узнать время, а часов нигде рядом не было. И мне посоветовали позвонить по телефону, по номеру 100, там мне скажут. Я не поверила, но все-таки позвонила. И вдруг мне действительно сказали, сколько времени. Я так растерялась, что даже сказала: спасибо. Я думала, там живой человек сидит и отвечает...

В Строгановском тогда, в 52-м году, было 8 курсов, туда принимали после 7 классов. Я не знаю, почему меня приняли. Конкурс был огромный, и многие рисовали лучше меня. Но может, что-то увидели в тех работах, которые я привезла из дома, может, просто учли, что я без подготовки — и приняли. А если бы не приняли, я не знаю, что бы я делала. Я поселилась в общежитии, в Салтыковке, по Горьковской дороге. Чтобы поспеть к 9, надо было вставать в 7 утра, и нагрузка была большая: с часу до 5 у нас был рисунок (в субботу с часу до 5 — лепка), кроме того, надо было учиться в общеобразовательной школе.

Вместо 150 рублей стипендии мне выдавали талоны на обед: мы питались в высотном здании возле Красных ворот; там был ресторан, к которому наше училище было прикреплено. 5 рублей в день на обед. А на завтрак у меня ничего, не было. И я была дистрофик: при таком же росте, как сейчас, я весила 38 килограмм. А сейчас 50. Можно было, конечно, устроиться подработать, старшекурсники это умели, и я бы рано или поздно нашла такую возможность. Но у меня просто не было сил, очень большая нагрузка. Пределом мечтаний был маленький чемодан, в который я могла бы положить тетради; учебников у меня не было никаких. В декабре у меня началась температура, но я держалась до весны, пока совсем не свалилась. Меня продержали в стационаре две недели, сбили температуру стрептомицином и выписали. Потом я попала в детский санаторий в Гурзуфе, потом сюда, в 54-м, и устроилась на метеостанции метеорологом. Ветродуем. Платили мне 375 руб. (сейчас это 37). На обед и ужин в коммуналке мне хватало, а на завтрак нет. А я еще училась в вечерней школе, хотела кончить 10 классов и вернуться в Строгановку, заниматься там только рисунком, а в оставшееся время подрабатывать. Я все еще считала, что это временный перерыв. Меня опять немного подлечили и опять выпустили. Но главное не в этом. Я простудилась. Как сейчас помню, в тот декабрь две недели подряд шли дожди, а у меня не было бот, и я промокла, и потом оказалось, что у меня уже дыра в пол-легкого, и легкое расплзается, как кружево — все это уже подготавлилось. Как это страшно и глупо: у меня просто не оказалось 460 рублей на боты. И из-за того, что у меня не оказалось 460 рублей на боты, я теперь расплачиваюсь всю жизнь. Мне уже трудно заботиться о чем-либо другом — только о том, чтобы выжить...

1968, май

Попутчики в поезде «Верховина» Львов—Москва:

Курсант военно-морского училища в Одессе Толик, из Костромы — худенький, щуплый мальчик с изуродованными пальцами, заплетающимся языком. 4 года уже отслужил (2 нашивки), осталось еще 2. Потом будет штурманом, лейтенантом, а служить ему 12,5 лет (в сухопутных частях 25 лет). Тяжело ему, конечно, при такой физической слабости. Я говорю: «Не жалеешь, что туда пошел?» — «Конечно, жалею. Надо было кончить 11 классов (он кончил 8, 47-го года рождения), потом, может быть, в институт поступать». А что ему плохо, объяснить не может. Дисциплина военная трудная.

Потом, выпивши, стал хвастаться: «Моряку в море легко. Что ему делать? Четыре часа отработаешь, потом дрыхнешь. А штурману лучше всех. На судне 7 штурманов; если 7 дней шторм, каждый поработает сутки, и больше нечего делать». Плавал уже в учебные рейсы в загранку, был во Франции, Англии, Китае, но вряд ли пока видел там что-нибудь: курсантов одних на берег не пускают; станет офицером, тогда пустят. Но знает, что выгодно везти узкоплечные аппараты: за них во Франции дают двойную цену. Напившись, все порывался идти искать женщину. (Господи, мальчик на вид!)... «Меня сухопутный патруль не имеет права остановить. Только морской. А сухопутный — никакой, ни сержантский, ни офицерский. Если остановят, я их пошлю, знаешь как». — «Ну и получишь десять суток», — ответили ему.

Напился быстро, сразу заснул, еле растолкали его под Москвой. Второй — младший лейтенант, младший техник из Москвы. Едет из Тернополя, где был в отпуске. Был до армии портным, потом переквалифицировался на строителя. Сильно потеет, подмышки постоянно мокрые, потное лицо быстро краснеет; чуть курчавый. Выставил нам на стол горилки 45°, без конца пил.

Третий попутчик назвал его (за глаза) колхозником, шерамыжником. «Нет, даже не шерамыжник — дуб». Демобилизованный, из Венгрии. О нем особо.

Он трепался со мной до часу ночи и потом следующее утро, говорил: «Тебе все это дико слушать, да?... Вот, набрался впечатлений, книгу напишешь». Я чуть было ему не сказал, что об этом уже написал книгу. Удивительно точно воспроизведена ситуация «Попутчиков»¹: демобилизованный, офицер и курсант-мальчик, отпускник, трое в купе. Я четвертый. И взяли этого Валеру с третьего курса, и девушка у него осталась. По ходу рассказа то и дело соответствия.

Но, конечно, его рассказы богаче живым, подлинным содержанием, чем мое худосочное сочинение. Подробности вряд ли печатные, а впрочем...

Итак, Валера Искаков, демобилизованный интеллигентный казах. Мать у него русская, и по чертам лица это заметно; скулы не так широки, глаза не так узки, нос не так приплюснут. Когда в 12 потушили верхний свет, в вагонных сумерках лицо его было почти лицом обычного московского юноши 46 года рождения. Говоря, он этак изысканно поигрывает ртом, кривит губы; у него некрупные ровные казахские зубы. Говорит по-русски интеллигентно, почти без акцента, только иногда чуть подчеркнута тянет «а»: па-анимаешь. Любит ученые слова, особенно «нюанс», вставляет его при надобности и без надобности: «Это, конечно, все нюансы, но я тебе рассказываю», «И тут получился такой нюанс». Любит слово «мрак». А в общем, взрослый мужчина; я впервые чувствовал себя так явно немолодым; т. е., разговаривая с ним, как с равным, то и дело вспоминал, что сам на 9 лет старше, и его тянуло время от времени говорить мне «вы».

Живет он сейчас в Алма-Ате, жил в Чимкенте. Дед у него разводит коней и изготавливает кумыс для местного знаменитого санатория. Он и сейчас в 70 с лишним лет пьет по утрам огромный бокал вина и не пьянеет. Приедут к нему гости, режет двух

¹ У меня была повесть с таким заглавием, поздней уничтоженная вместе со всеми работами до 1972 г.

свежих баранов. («Вот сейчас самое нежное мясо, январского окота, к маю-июню оно нежное»). И сейчас может вскочить на коня, схватив его за гриву, без седла поскакать. Когда Валера учился на коне и падал, не удержавшись, он подскакивал к нему и бил камчой — так он учил внука ездить. Он и сына своего, отца Валеры, может оттянуть камчой, и тот ничего не скажет — а отцу сейчас 53 года.

Отец у него окончил исторический факультет университета, в войну служил полковым комиссаром, потом работал в облОНО, потом был первым секретарем Чимкентского обкома партии. В 1953 году его посадили — обвинили во взятке, конфисковали все имущество, коттедж, книги, машину, целое состояние. Остались босы-голы. Просидел год, вернувшись, стал опять служить в облОНО, в Алма-Ате, постепенно поднялся до зав. облоно, потом стал служить в министерстве и оттуда опять загремел. Теперь он директор школы, преподает историю, раньше преподавал логику. Дело в том, что у них полгорода — родственники; он при случае упоминал: и прокурор — дядя, и директор торговой базы — другой дядя, все друг друга знают, все просят о месте; на каком-то из родственников, короче, он и погорел,

«Сейчас он стал маньяк, — рассказывает Валера. — Мне даже его жалко. Сейчас ему 53 года, я его три года не видел. Может, он еще хуже стал. Он помешался на Сталине. У него со времен войны хранится целая стопка всевозможных грамот, и там вроде бы есть подписанные Иосифом Виссарионовичем. Когда в 56-м году стали снимать портреты, он обошел все учреждения, где снимали портреты, брал их себе — больше 100 портретов, запер в комнате, собрал все книги, все, что когда-нибудь выходило за подписью Сталина — все у него в ящиках и на стеллажах в закрытой комнате дома. И время от времени он туда приходит, начинает перебирать все эти книги и бумаги, иногда двое суток перебирает, никого туда не пускает. Достает грамоты и целует. Потом закрывает комнату на ключ и опять становится нормальным».

Живут они сейчас, судя по всему, неплохо. Во всяком случае, Валера имеет свою «Волгу», подаренную отцом, время от времени компанией они ездят в горы, или вот к своему деду. По его словам, «Москвичей» там не покупают, даже «Москвич-408». Какой-нибудь чабан приходит с гор, получает 11 тыс. за год, покупает сразу «Волгу» — ему дают без очереди, и она стоит у него весь год без дела, ржавеет.

Когда его призвали в армию, отец мог освободить его без малейшего труда — и не только его, а еще 12 соседских детей. Но он этого не сделал, сказал: там узнаешь, что такое жизнь. «Я из-за этого с ним поругался; сейчас еду, не знаю, как он меня встретит, Конечно, я был не прав, нельзя было с отцом так разговаривать. Но я каждому пятому закажу идти в армию».

Взяли его с третьего курса юридического факультета; туда он попал тоже по знакомству: его дядя (или какой-то другой родственник) был деканом этого факультета.

Была у него девушка, Светлана; они вместе учились с 5-го класса, сидели на соседних партах, а с 8-го класса — на одной парте. Решили поступать в один институт — в медицинский. Но он был не в ладах с точными науками, и тут дядя ему сказал: как у тебя с иностранными языками? — Знаю какое-то количество слов по программе. — Ну, иди ко мне. И он пошел. А она кончила медицинский институт, работает хирургом. Писала, что устала ждать.

Она приезжала к нему, когда он был в учебном, в Каменец-Подольске (в Союзе, как говорят служащие за границей). Ему дали отпуск 11 дней. Она увидела, его и, когда, пришли в гостиницу, вдруг заплакала: «Что с тобой?» Он даже расстроился. «Что ты плачешь? Ну, не надо». — «Ты что, больной? Почему ты такой худой?» — «Да я через день бегаю 3 км». Она не поверила. Тогда он ее повел на плац — он знал, что в этот день его солдаты должны бегать с полной выкладкой, и впереди пузатый старшина-сверхсрочник — но он привычный, он бегают лучше их. «Я был спортсмен, игровик, у меня первый разряд по волейболу и баскетболу, второй разряд по боксу. Но сейчас у меня со

здоровьем неважно, сердце побаливает. Я там бросил пить, курить»...

Провели они в гостинице все дни. Она привезла шампанское и коньяк, но он не пил, и она удивилась: Валера, ты что, пить перестал? Он сказал: я могу напиться, и ты напьешься, и мы заснем, и всю ночь проспим — будет на одну нашу ночь меньше...

Но однажды раздался в номере звонок, и дежурный сказал ему только позывные 01 — это значит, тревога, общий сбор. Он как лежал с ней голый в постели, так вскочил, ничего не спрашивая, и побежал. Там их посадили на машины и помчали за 70 км. на исходные позиции — которые предусмотрены на случай войны. Даже не спрашиваешь, что, почему, зачем. Через день они вернулись, он пошел к полковнику: товарищ полковник, разрешите продолжить отпуск. — Разрешаю. Он вернулся в гостиницу. Светлана, как он оставил ее, не одетую, так и сидит, только что-то на себя накинула, и плачет, вся распухла от слез — безобразная стала. «Я думала, что началась война».

Вот что едва ли не самое тяжелое в этой жизни — постоянная оглядка, мурашки по позвоночнику: сейчас могут позвонить, найти, вызвать; там ни секунды не принадлежишь себе.

Он служил всего 38 месяцев... Молодым солдатом около двух месяцев, потом сразу 6 мес. в учебном. Когда он написал об этом Светлане, она сказала, что, если он это сделает, она отравится. Она не поняла, думала, он на офицера идет учиться. Потом он объяснил.

Между молодыми солдатами и «стариками» огромная пропасть. Последнее время у них был такой ритуал. Ежедневно вечером команда: «Молодым встать, солдатам второго года лечь в постели!» И произносили: «Старикам осталось до увольнения столько-то дней. Поприветствуем стариков!» И старики лежа принимали приветствие. А если кто-то не приветствовал, старик подходил, велел ему снять штаны и тапочком по голой заднице бил столько раз, сколько ему оставалось дней служить. У них в тумбочке был календарчик, на котором молодой каждый день должен был отмечать, сколько старику осталось служить, вы-

черкивал даты. А если не вычеркнет — такая же экзекуция по голому задку. Был там один старик — колхозник, безграмотный, он устраивал такие экзекуции для собственного удовольствия. Заставит снять штаны и бьет тапочком. И однажды, когда Валера был еще молодым, полез к нему. А тот лежал на нарах (молодые лежат наверху, а старые — всегда внизу) и прижал его ногой, горлом к кровати — чуть не удавил. Тут все выскочили в коридор, хотели его бить. «Я говорю: я экзекуции не потреплю. Хоть бы за дело, а то для собственного удовольствия». Но избили бы, если бы не нашелся один умный сержант, он сказал: оставьте его.

А то старик мог позвать к себе молодого и сказать: Эй, молодой, иди сюда. Тот подходит. Пошел на хуй! Слышал, что я сказал? Пошел на хуй! — К-как? Берет его, поворачивает и пинком под зад. Просто так, от нечего делать».

Когда Валера вернулся из учебного в звании сержанта, многие старики сначала не хотели ему подчиняться. «Тут надо было сразу себя поставить. Он сразу дал одному, другому наряд на работу. А для старика получить наряд на работу — это позор. Не пойду, и все. Выводят всех строиться, стоят. Объявляют наряд, а он не идет. И все стоят. 50 минут стоят, потом 10 минут перекур — и опять стоят. Делать нечего, попробуй не пойти — все будут стоять. В том-то вся система, что все будут стоять».

«Наконец, пошли жаловаться к командиру батальона: издевается. Тот вызывает: старики жалуются. Я говорю: а вы попробуйте с ними на моем месте. Он: у меня народ золотой. Я говорю; если вы ребят лучше знаете, тех, с которыми я каждый день живу — тогда вот вам печать, ключи, и не буду я старшиной. Он: ну, зачем сразу лезть в бутылку? Я: тогда, вместо того, чтобы принимать жалобы, вы их взгрейте за то, что полезли через голову. Потому что они должны сначала доложить помкомвзвода, тот комвзвода, только тот командиру батальона. А то у нас есть такие офицеры, которые теряют свое достоинство, честное слово. Придет полковник, увидит, что у кого-то не застегнута пуговица, и сделает ему замечание. Он же унижает себя, честное слово. Рядом стоит лейтенант, который только что с этим солда-

том разговаривал и даже сигаретами угощал, и не сделал ему замечания. Так вызови его в кабинет и взгрей, как следует, чтобы он больше такого не допускал. А то сам — замечание.

Ну, многие меня считали зверем, но потом, когда уходили и прощались, все подходили и говорили: прости, Валера. Служба службой, понимаешь, чего не бывает? И плакали, представляешь? И у меня самого слезы, честное слово, невольно. И играла музыка, марш «Прощание славянки», знаешь? О, вернусь домой, закажу подруге записать этот марш на пленку и целый день буду слушать.

Так я себя с ними поставил. Зато и себя не распускал. Потому что, если у тебя расстегнута пуговица или спущен ремень, и мимо тебя идет солдат с расстегнутой пуговицей и ремнем — ты не можешь сделать ему замечания. В личное время он может ходить с расстегнутой пуговицей, но без ремня, а с ремнем не имеет права, и ты не можешь сделать ему замечания, потому что сам расстегнут. И я все три года, как ни трудно, но сам себя держал застегнутым, подтянутым, иначе ничего не мог бы сделать.

У нас в учебном знаешь как себя сержанты и старшины поставили? Увидишь его за сто метров — и сразу сворачиваешь. Утром он подходит, проводит по щекам, и если рука встретит какое-то сопротивление — сразу в наряд. Будешь чистить очко, или возьмешь стеклышко и будешь драить полы, потом натирать, да так, что, если он посмотрит — должен себя увидеть. Если не увидит, его это не устраивает.

Вечером должен за 50 секунд раздеться и аккуратно сложить обмундирование. Не уложишься в 50 секунд — он всех поднимает и заставляет делать заново. Всех. И попробуй еще раз не уложиться — в тебя сразу кинут сапогом или табуреткой, а потом еще будешь драить стеклышком пол.

Интеллигентов, студентов после института действительно могут третировать всякие колхозники, сержанты, старшины. Ах, студент! Это тебе не книжки читать. Иди-ка почисти очко, И сам еще посрет на доски. Но я не понимаю, как некоторые унижаются. Они пишут женщинам домой письма — я читал: мол, служу, запускаю ракеты, делаю дела — а сам в уборной трет очко. Я бы

этого не вынес. Это же нужно не иметь никакого самолюбия. Был у нас один из Саратова, мы с ним вместе в карантин ехали, его на вокзале провожала женщина — это все отдать можно за такую женщину. Потом ему письма писала, умные, грамотные, с такими образными сравнениями. А он позволял, чтобы его посылали очко чистить...

Когда я еще только начинал служить, мы ехали в карантин, я подрался с одним стариком, сержантом, рязанским. Он меня назвал «черный». Я не мог этого стерпеть. Сам колхозник, 3 класса кончил, по-русски плохо говорит — а меня черным обзывает. Это для меня оскорбление. Я его бил — никто слова не сказал. Все стояли, видели, что молодой избивает старика, но не сказали...

Если мне приходится назначать начальника отделения, и есть двое: русский, окончивший 11 классов, и украинец, я всегда назначаю русского. Потому что, даже если они оба окончили 11 классов, так он умней. А тот, как был колхозником, так и остался...

Офицеры только говорят о преданности, о службе, а приходят домой — локти кусают. Прослужил 15 лет, потом понял, что ошибся — и злится на себя. И на других срывает. Они сами ни во что не верят, что говорят...

А некоторые из деревни, конечно, рады и на сверхсрочную остаться. Конечно: спишь на двух простынях, тебя кормят, поят, о тебе заботятся. Он только в армии по-русски разговаривать научился, теперь даже не понимает, как в колхозе живут, других колхозниками называет...

Служил в ракетных войсках. Знаешь, я сколько имел одних боевых запусков? 13. А никто не имеет больше 5—6. Так получилось, что я стрелял однажды на учениях и имел 98% попадания в запусках земля-воздух, и 80% попадания в запусках земля-земля. На 3% лучше, чем у других. И меня послали на войсковые учения. А там я тоже дал 5 запусков: 88, 95, 98, 92, 89%. Меня генерал расцеловал... Так я набрал 13 запусков. А каждый запуск — это буквально у тебя из головы вылетают, потом два месяца ходишь потерянный. Ты сидишь в бункере, пусковые

двигатели работают 15 секунд, но кажется, что это целый месяц. Тактические ракеты легко запускать, или учебные. А боевые запуски (мы на север стреляли) — тяжело... Я подумал: если будет настоящая война, с использованием всех этих средств, да еще атомного оружия — мало что останется. На таких учениях предусмотрено 10% жертв, а на дивизионных — 3% жертв»...

Как там пили, ухитрялись доставать водку. Если попадешься, наказывают очень строго. Приносили самогон в сапогах, в которых ходили, прямо из сапога и пили. Покупали после полочки десяток коробок шоколадных конфет с ромом или коньяком; в каждой конфете 10 грамм рома или коньяка, стоят они что-то 20 форинтов... Жил там один крестьянин, делал вино, можно было пробраться к нему садами, напиток у него и другим принести. Он брал за это солдатское белье, даже портянки, мыло хозяйственное особенно; что с этим делал — непонятно...

Была у них проститутка, Ирка, ее привозили в казарму и прятали на чердаке. Каждый солдат отрезал ей с каждой еды кусочек хлеба, масла, всякой другой еды, кормили ее, потом ебали человек 50—60, снова прятали, давали отдохнуть, кормили и снова ебали. Я не сразу поверил: невозможна такая выносливость. Ну, наверно, такая баба. Зато зарабатывает как: с каждого солдата 20 форинтов, это 1000 форинтов за один раз с 50 человек, она никогда бы столько не заработала. Толстая баба, у нее дочка. Их там три проститутки, одна купила на эти деньги машину. Обслуживают пехоту и артиллерию.

На книжке у него к концу службы осталось 180 руб... Он их все пропил за два дня во Львове. И в поезде фуражку потерял — теперь не знает, как по Москве будет ходить. Денег он не считает. «Я никогда не знал цену деньгам. Может, теперь узнаю»... Чуть не женился во Львове. Познакомился, как он рассказывает, на вокзале с кассиршей, она сказала, что согласна выйти замуж, позвала к своим родителям, представляться. Но он, конечно, сел в поезд и уехал... Сейчас едет домой в смятении чувств. Ждет ли его Светлана, не знает — но даже в мыслях не хочет ее оскорблять. Раньше он ее любил, сейчас так сказать не может — просто отвык. Расписаться он ей предлагал десять раз,

но не хотелось строить все на формальности. Планы на будущее строить устал. Все три года о будущем думал, и эти мысли — все равно что камни кидать об эту стену, они под стену и падают. Вероятно, вернется на 4-й курс юридического факультета. Думает стать юрисконсультom в торговле. Почему? «Потому что я не могу быть бескомпромиссным человеком, это я знаю. Адвокату или прокурору нужно быть бескомпромиссным и честным, но я знаю, что так не проживу. Для этого и вступил кандидатом в партию».

СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

Разговоры с В. А. Кавериним

Году, помнится, в 1970-м общая знакомая дала Вениамину Александровичу почитать что-то из моих рукописей. Некоторое время спустя я ему позвонил, он предложил мне приехать к нему на дачу в Переделкино. Я уже давно писал прозу, кормился переводами и разной мелкой поденщиной, меня не печатали. Разумеется, была надежда на протекцию мэтра. Вениамин Александрович однажды действительно порекомендовал мой рассказ «Отец и дочь» ленинградскому журналу «Звезда», я съездил туда с его письмом. Отделом прозы в журнале тогда заведовал А. С. Смолян, он принял меня уважительно: рекомендация Вениамина Александровича, сказал, для нас много значит. Потом я получил от него письмо: рассказ ему понравился, но опубликовать его журнал не может. «Причины объяснять не буду». Вообще-то можно было бы и самому догадаться (еврейская тема). Другие мои работы, которые читал Вениамин Александрович, я сам сейчас смутно помню, они были поздней или уничтожены, или использованы для других текстов — кроме последней упомянутой ниже повести «Гоголь» («День в феврале»).

Интересней всего для меня были, конечно, разговоры с В. А. Кавериним. Кое-что из рассказанного им я потом встречал в его воспоминаниях — и мог убедиться, что записывал довольно точно.²

23.2.71. Был у Каверина. Приехал часов в девять, он весь этот день работал, устал... Я дал ему свои рассказы, устно объяснил замысел «Старого дома» — не обязательно, как теперь понимаю. Ну посмотрим, что он скажет. Каверин заметил, что его воспоминания, которые будут напечатаны в № 6 «Звезды», тоже называются «В старом доме» — это дом в Ленинграде, где он читал лекции. Я засмеялся: «Тогда сниму свое название». — «Зачем же? Это одно из самых распространенных заглавий вообще. Можете посмотреть в справочнике — наверное, несколько десятков произведений с таким заглавием».

Я пытался объяснить, почему решил свести рассказы в цикл: заметил, что мои герои поневоле оказываются чем-то похожими — очевидно, они чем-то близки мне, похожи на меня.

«А вы думаете, вы знаете себя? — спросил он. — Я сейчас пишу мемуары, наверное, получится три тома, вспоминаю себя с детства. Я все пытался разобраться, какой я. Но и сейчас этого не знаю. Было время, когда я считал себя трусливым и хотел воспитывать в себе храбрость. Брат придумывал мне испытания. Он был старше меня, храбрее, но глуп (это он о Зильбере, академике), я чуть не дал дуба. А потом был на войне и никак не мог сказать, как я себя поведу, окажусь ли храбрым...»

² Когда выяснилось, что журнал «Звезда» готов опубликовать мои записи о В. А. Каверине, я решил разыскать рассказ «Отец и дочь». Совсем его с тех пор забыл, не пытался нигде больше пристроить. Оказалось, он был написан еще в 1965 году (полвека назад!), и его, пожалуй, даже сейчас вполне можно читать. Возникла мысль присоединить рассказ к моим записям.

Редакции эта идея неожиданно понравилась. «Нужно будет придумать какую-нибудь рубрику, — ответил мне редактор журнала. — Вообще же забавно было бы восстановить эстетическую хотя бы справедливость и отвергнутый “Звездой” полвека назад рассказ читателям все-таки представить». Рассказ был опубликован вместе с записями.

Я в ответ намеком рассказал про споры, связанные с одним из моих знакомых, который, как говорили, не лучшим образом повел себя в КГБ, и заметил, что не берусь судить: как бы я вел себя сам, если бы меня вызвали (в КГБ). Не знаю.

«Меня вызывали в 1941-м, — сказал он. — Предлагали сотрудничество. Я был тогда одним из руководителей Союза писателей, секретарем Ленинградского отделения. Я проявил необычную твердость и отказался. Хотя они были весьма настойчивы, вызывали меня несколько раз, я возвращался домой, за мной снова приезжали. И дело не в какой-то особенной смелости, а в том, что я просто ясно понял: если я соглашусь, это будет означать мою гибель. Если бы я согласился, мы бы с вами сейчас не беседовали. Я так представил себе эту двойственность, эти муки совести... нет, я просто защищал свою жизнь и сумел проявить твердость. Они уговаривали меня глупо, и угрозами, и посулами. Посулы были idiotские. Они, например, говорили: вам уже сорок лет, вы не то что простой молокосос. Мы можем сделать так, чтобы вас не посылали в опасные места, оставили в безопасности. Мне даже смешно стало. Я работал на Северном флоте. Представьте себе, моих товарищей посылают куда-то, а я странным образом остаюсь в безопасности. Не вышла эта уловка, придумали другую: нам известно, что в Ленинграде сильны антисемитские настроения, вы бы нам рассказывали об этом, если услышите. Пытались сыграть на моих национальных чувствах, которых у меня никогда не было. Я с тринадцати лет убежденный интернационалист, я не знаю языка. Достаточно сказать, что мама запрещала мне ходить на занятия по еврейской религии, чтобы я не испортил своего русского произношения. Я им говорю: подумайте, я еврей, к тому же секретарь правления Союза писателей, кто это ко мне подступит с антисемитскими разговорами? Не вышло это, придумали что-то еще... А заинтересовались мной, между прочим, в связи с делом Тихонова. Представьте, на Тихонова было дело, и если бы ему дали ход, то полетели бы очень многие, мы бы с вами во всяком случае не разговаривали. Счастье для него и для всех нас, что оно не состоялось. На Пушкинском юбилее в 1937 году Сталину понрави-

лось выступление Тихонова, и это его спасло. Конечно, он был безобидный для советской власти человек, абсолютно советский, никогда ничего себе не позволял. Но ему повредила поза, которую он принимал. Было несоответствие между тем, каков он есть, и его позой. Это часто встречается: несоответствие между характером человека и его позой — полезное для литературы и губительное для человека».

«Чем же полезное для литературы?» — спросил я.

«Так на этой позе построены все его хорошие стихи: “Орда“, “Брага“. У многих поэзия строится на определенной позе. У Лермонтова, например... Так что он спасся. А Заболоцкий был арестован по его делу... Вы не знаете, что Заболоцкий был арестован по делу Тихонова? Просидел восемь лет. Потом сам Тихонов хлопотал за его освобождение, я принимал в этом участие, мы действовали на Тихонова через его жену Марью... Если бы не война, Заболоцкого давно бы освободили. За него ручались все: и Фадеев, и Тихонов, партийная организация Ленинградского отделения Союза писателей. Хотя он был беспартийный... Нет, нельзя сказать, что Тихонов откровенно плохой человек, он искренен на каждом своем новом этапе. В 1930-е годы он был близок с Эренбургами, ездил с ними в Париж. А когда умер Эренбург, он не пришел даже на его похороны; не пришел и на похороны Любви Михайловны Эренбург, святой женщины, которой он очень многим обязан. Тогда он думал, как Эренбурги. Потом он стал думать, как Сталин. Сейчас он, наверное, думает... ну я не знаю... как Брежнев. По-своему искренне. Писать, конечно, он разучился. Но он, очевидно, знал, что намечалось его дело. После войны, когда его назначили секретарем Союза писателей, я пришел к нему в кабинет. Мы все-таки с детства знакомы. Он читал список... Мы не знали, но был такой список на всех писателей: кто что сделал; против каждой фамилии стояло: активно печатается в центральной прессе, мало печатается в центральной прессе. Я в годы войны печатался очень много. Он меня поздравил. Но как только я начал разговор о том, что меня вызывали, он сразу меня оборвал. И я понял, что он все знал...»

Я упомянул о сборнике материалов по делу Солженицына и о том, что прочел там его письмо рядом с письмом Твардовского. В сравнении с Твардовским он очень выигрывает, тому мешают дипломатичные оговорки.

«Он надеялся, что что-то получится. Твардовский звонил мне по поводу моего письма, благодарил за него. Кстати, оно не предназначалось для широкого чтения, не знаю, кто его распространил. Недавно мне попался его черновик. Он был раз в пять больше окончательного варианта. Я там писал о Моцарте и Сальери, о кровавой позиции Сальери... Это было уже не первый раз, когда он [Федин] становился главным препятствием в делах, в которых я был кровно заинтересован...»

В разговоре я упомянул Сартра.

«Я его терпеть не могу, — сказал Каверин. — “Слова“ — по-моему, это ужасно. Об этом столько раз писали — выдавать это за что-то новое? Человеку, воспитанному на русской литературе, это смешно. Конечно, он талантливый писатель, его пьесы сильно сделаны, но, по-моему, это явление поверхностное, я не понимаю, почему им так увлекаются. Я с ним встречался, и у меня сложилось о нем именно такое впечатление».

(Еще о Сартре: «В нем слишком проявляются отличительные черты француза. А я не люблю писателей, которые воплощают исключительно какую-нибудь национальную черту».)

Я рассказал о работе [Анатолия] Якобсона. Каверин сказал, что знает его и что он произвел на него очень хорошее впечатление. Я подтвердил это, сказав, что главное его достоинство — большая степень внутренней свободы, которой мне пока не удается достичь.

«Да, — сказал он, — это главное, над чем мы бьемся. Вот это то, к чему зовет Солженицын. Он недавно написал письмо одному литератору, где пишет: попробуйте. Вначале это трудно, а потом пойдет... Вот я сейчас так пытаюсь писать свои воспоминания. Не до конца свободно, конечно же, но пытаюсь. Между прочим, последний мой роман (в “Звезде“) — наиболее свободная вещь из всего, мной написанного. Если не считать ранних произведений, фантастических. Особенно рассказ “Ревизор“

[он нашел в своей библиографии номер журнала, где был напечатан рассказ, я записал]. Если бы я в других условиях продолжал работать в этом направлении, кто знает, — он засмеялся, — может, из меня бы вышло что-нибудь стоящее».

На его даче шел ремонт, и мы вначале сидели не на террасе, а в комнате рядом с кабинетом. Стеллаж с украинской керамикой, на стенах французские плакаты и картины. Две картины интересные. Одна — работа Бориса Биргера: стена и в ней дверь, прямоугольник в прямоугольнике, но не абстрактная, а наполненная воздухом; мелкие мазки в коричневых тонах. Вторая — натюрморт Краснопевцева. «Между прочим, большой любитель классической поэзии, которую читает по-латыни. Это одна из его старых работ, а сейчас он, говорят, пишет вообще гениально».

Потом мы перешли с ним на веранду пить чай. Я спросил его, что он думает о Леонове.

«Он мне совершенно не интересен. Ранние вещи его еще были интересны, а потом... Я как раз пишу в воспоминаниях о семинаре, на котором мы разбирали Леонова. У меня сохранилась стенограмма, на нем не оставили камня на камне».

Я упомянул «Вора».

«Да плохо написано. Мне не хочется сейчас доставать эту книгу и листать. Я бы мог вам привести множество фраз, которые невозможно написаны. Каждая фраза у него прихорашивается перед зеркалом и подкрашивает губки. Ему нечего сказать. И это стремление подражать Достоевскому, на что у него нет никаких оснований. Нет, это шелуха».

«Да, — сказал я, — пока читаешь, кажется интересно, а прочтешь — ничего не остается. Нет какой-то нравственной основы, своей мысли. Сомнительное заступничество за лес в годы, когда летят головы».

«Защита леса — это вообще чепуха. Нет, не говорите, в нем нет ничего интересного. Какое-нибудь “Взятие Великошумска”. Почему Великошумска? Так писать о войне! Если ты не нюхал пороху, так зачем же писать? У Федина-то хватило смелости ничего не писать о войне. Впрочем, в последнем рома-

не он, наверное, что-то написал? Ну, это через восприятие какого-нибудь Пастухова. О таком великом событии, как война, писать “Взятие Великошумска“!.. Нет, это человек, который ненавидит советскую власть, — но не так, как, скажем, Мандельштам, а с других позиций. Он ипохондрик. И необычайно высокого мнения о себе. Говорят, он велит дочери читать вслух страницы своей книги и пристукивает по столу кулаком: гениально!.. Я знаю, что Иосиф Бродский считает себя большим поэтом, мессией русской поэзии. Я разговаривал с ним минут пять, мне это бросилось в глаза. Но потом я прочел его стихи и увидел, что он действительно очень талантлив, что эта позиция ему нужна, чтобы как-то утвердиться в своей правоте, чтобы удержаться в этих обстоятельствах. А Леонов...»

Я к левому вспомнил о Ф. Х. В. — заметил, с какими людьми знается Леонов.

«Да, кстати, — сказал Каверин, — не знакомы ли вы с Сахаровым? Как мне передали из заслуживающих доверия источников, возле него околачивается некий Шахмагонов. Он ходит в издательство “Московский рабочий“ и якобы предлагает издать брошюру Сахарова. Если это так, надо бы предупредить Сахарова, чтобы он был от него подальше. Это опасный человек, с ним не стоит связываться».

Я рассказал, каким образом видел однажды Шахмагонова у Петра [Якира], как он рассказывал о ростовско-шахтинских событиях и как Якир через Шолохова [секретарем которого был Шахмагонов] выхлопотал освобождение Габаю.

«Это еще больше укрепляет мои подозрения. Впрочем, не знаю, может, Шахмагонов так резко изменился. Но не думаю. Ну, о Шолохове мы говорить не будем? Ясно, что это такое...»

Я спросил о Катаеве.

«Катаев? О нем можно судить даже по его собственным словам. В моральном отношении абсолютный подлец и циник. Он очень холоден, очень расчетлив. Святого для него ничего нет. Однажды Пастернак встретился с ним на улице и по рассеянности пожал ему руку. Так на другой день он написал ему длинное письмо, в котором объяснял, что пожал ему руку неу-

мышленно, это ничего не должно означать, он просто не сообразил в задумчивости, что подает руку Катаеву...

Конечно, он талантлив. Хорошо он может писать только о своем детстве. Дальше — нет. Когда он пишет о Бунине — по моему, ясно, что это не Бунин, что тут нет правды. Но когда он пишет, как в Нью-Йорке встретился с женщиной, которую когда-то любил, как, вернувшись, видит в тумане лицо своей жены, — это талантливо, что говорить... Кстати, проза его, в общем, консервативна, он ничего особенного не открыл. Если почитать современную западную прозу, Болдуина или [назвал еще кого-то] — станет ясно, что открытия тут никакого нет. Но, бесспорно, он талантливей Леонова. Из Леонова ничего не извлечь. Насколько глубок и интересен Булгаков, насколько глубокий и интересен Тынянов — настолько не интересен Леонов».

Заговорил о том, как интересно под старость вспоминать детство.

«Вы еще не можете об этом судить. Сколько вам лет?..»

Я заметил, что, к сожалению, чувствую себя развивающимся очень запоздало. Приходится многое преодолевать, переделывать в себе, постигая то, «что должно быть понятно с рождения».

«Тут вы не правы, — сказал он. — Преодоление — это тоже развитие, это содержание человеческой жизни...»

Потом сказал: «Я вообще убежден — хотя меня тут можно опровергнуть гениальными примерами — но все-таки я убежден, что прозаиком можно стать лишь где-то после тридцати четырех лет».

Потом он вышел меня проводить. Переделкино было темно и пусто, все дачи темны. Каверин сказал, что здесь живут сейчас пять-шесть человек. Он шел очень быстро, сутулясь. Я заговорил о Слуцком, сказал, что хорошие стихи напечатаны в «Новом мире».

«Да, сейчас он хорошо пишет. И это лишь малая часть из того, что у него сейчас написано. Он очень хороший человек, хотя совершенно лишен обаяния. Бывают такие сочетания.

У него был период некоторого спада, и это понятно: у него очаровательная молодая жена, и она очень больна...»

Я упомянул о его выступлении по делу Пастернака.

«Да, это совершенно необъяснимое и досадное происшествие. Наверное, он сам очень переживает. Об этом с ним никто не говорит...»

По дороге в совершенно пустынном переулке нам повстречался человек с собакой, маленькой шавкой. Она залаяла, подбежала к Каверину, и он вдруг вскрикнул — каким-то обиженно-бабьим, неожиданно тонким голосом: «Ах ты, негодная, я тебе покажу, как кусаться!» Я даже не понял, почему он так испуганно обернулся к ней, стал отгонять. «Не бойтесь, — сказал хозяин собаки, — она вообще не кусается». — «Так она укусила, — возбужденно сказал Каверин. — Ну да, прокусила». Хозяин начал бормотать извинения, Каверин сказал: «Ладно, я все равно сейчас домой». И пошел со мной дальше, так же быстро. «Больно?» — забеспокоился я. «Нет, щиплет». Через некоторое время он все же остановился: что-то там намокает. Быстро попрощался и зашагал обратно...

По пути, в электричке, я читал его роман в «Звезде», сразу со второго номера³. (Ему, правда, сказал, что не начну читать, пока не достану первого номера. «Ни в коем случае!») — сказал он. Я намекнул, не даст ли он мне почитать первый номер — с возвратом. Он сказал, что нет, хочет оба номера переплести.) Интересно. Накануне Г. мне говорила, что у нее к героине двойственное отношение: она узнавала в ней много своего, и в то же время было ощущение какой-то неискренности. Я спросил Каверина, как он сам к ней относится. «Да я в нее просто влюблен, — сказал он, — хотя никогда ее не видел».

4.3.71. Звонил Каверину, он сказал: «Рассказы мне понравились меньше, чем ваша прошлая вещь. Нет обязательности, внутренней связи. Героям совершенно необязательно жить в одном доме. Я говорю вам откровенно, потому что считаю вас настоящим писателем. Прошлая вещь у вас была с замахом, пусть

³ Речь идет о романе В. А. Каверина «Перед зеркалом» («Звезда», 1971, № 1—2)

не во всем осуществившимся, а это слабей... Видите ли, если судить по среднему уровню, по тем рассказам, которые сейчас печатаются в Новом мире“, то это вполне на месте. Но я же к вам отношусь серьезней»...

Поругал так, что стало даже немного приятно. Я, наверное, зря отдал ему рассказы, поторопился. Но, с другой стороны, я сам отдавал себе отчет, что это вполне на уровне «Нового мира». Слаб человек: хочется все же, чтобы это было закончено и напечатано. Может, все-таки отнести в «Новый мир»?..

7.2.72. Был у Каверина. Он хлопотал, разогревал себе ужин, уговаривал меня: разогреть вам яичницу? Работает сейчас над книгой. В прошлом году рассказывал о ней как о мемуарной, но решил написать цикл вольных эссе, не традиционных, с главами о семье, родителях, брате, о себе и своем характере, о честолюбии, преодолении страха. Попытка самоанализа. «Я беспощадно к себе пишу».

Показал роман «Перед зеркалом», изданный в ФРГ. Говорил, что приходит много писем, в том числе от художников, от писателей. «Я почти всем отвечаю. Борис Биргер мне когда-то говорил: если ваш роман напечатают, что мне кажется невероятным, это будет большое дело для нас, художников, потому что здесь отстаиваются совсем иные ценности».

За немецкое издание он получил сто семьдесят рублей «золотом», то есть примерно (это нужно умножить на пять) восемьсот обычных рублей. «Я получаю четыреста рублей за лист, значит, мне фактически оплатили за два листа, а в романе тринадцать. Остальное пошло государству. Я зарабатываю для государства огромные деньги. Сейчас издали в АПН «Два капитана» на испанском языке, восемьдесят тысяч — тираж, огромный для европейской страны, на прекрасной бумаге, в прекрасном полиграфическом оформлении. Я за это не получил ни копейки. Вообще мне полагается шестьдесят процентов. Симонов, которого тоже много печатают за границей, сейчас борется за то, чтобы этот процент увеличили. Это как Рихтер, который получает самый большой в мире гонорар, две тысячи пятьсот долларов за выступление. На руки он получает двести пятьдесят. Правда, по-

строили ему двухэтажную квартиру и т. п. Солженицын сейчас добился, чтобы получать шестьдесят процентов. Он сейчас состоятельный человек. И Нобелевская премия в этом году была особенно большая, она ведь каждый год разная. Но вот существуют писатели, которые ни копейки не приносят государству, потому что их за границей не печатают. Ну, может быть, Кочетов имеет скандальный успех в Советском Союзе. Но я не думаю, что, скажем, Михаил Алексеев приносит государству доход. В лучшем случае получается так на так».

Рекомендовал мне две новые литературоведческие книги: Гинзбург о психологии прозы и Чудакова о мастерстве Чехова.

«Мне прислали список новинок, я получил всего четыре. В первую очередь удовлетворяют спрос более высоких категорий, начальства. Мне шлют уже где-то в четвертую, в пятую очередь, что останется. Мне или моей категории».

«Неужели даже в Лавке писателей существует такая табель о рангах?»

«Еще как существует! В первую очередь посылают — ну я не знаю кому — заместителям министров».

«Но разве заместители министров читают книги?»

«Дети их читают. В этом все дело. Этим я, кстати, объясняю успех своего романа — у нас и за рубежом. Я, откровенно говоря, удивляюсь: кому на Западе может быть сейчас интересен такой традиционный, в общем, роман? Но они же издают очень расчетливо, не наобум, им прибыль нужна».

Заговорили о новом романе Солженицына. Каверину очень понравилось. «Есть некоторые погрешности художественные, которые мне очевидны». Когда я начал делать оговорки, он со мной не согласился. Но согласился с мыслью, что при нормальной литературной ситуации Солженицына надо было бы обсуждать всерьез, не только с похвалой.

«Я же об этом говорил на заседании секретариата, когда обсуждался “Раковый корпус”. Я сказал: вы создаете себе врага, отталкиваете. И, преследуя его, вы только его ожесточите. Точно так и получилось. Может, кому-то нужны враги? Но теперь он крепко стоит на ногах. Я видел его на похоронах Твардовско-

го. Этот человек стоит на ногах твердо, за последние годы у него окончательно сформировались взгляды. И как он работает! Я не говорю, что он работает шестнадцать часов в сутки, но если он работает хотя бы двенадцать часов — это уже феноменально! Теперь с ним ничего не сделают. Могут, конечно, убить, но вроде бы это сейчас не принято. Это когда-то Михоэлса могли убить, стукнуть по голове. А сейчас наше умеренно консервативное правительство вряд ли на это пойдет. Конечно, ничего нельзя предсказывать, но я думаю, нет».

Заговорили о религиозности Солженицина. «Судя по его молитве о Твардовском, он сейчас определенно религиозный человек». Я сказал, что сейчас это поветрие, он неожиданно ответил: «Вы знаете, я тоже стал всерьез думать о христианстве и именно о православии. Вы этого не поймете, это дело возраста. Пока Пастернак был молод, ему было не до христианства. А вот я сейчас сижу, углубившись сам в себя, вся моя работа сейчас — углубление в самого себя, и чувствую, что это серьезная тема».

Поговорили в связи с этим о всяческом национализме, русском и народов СССР.

«Я не знаю, что творится в мире. Я сижу тут, день мой распisan по часам, занимаюсь работой. Я надеялся, вы мне что-нибудь расскажете. Я ничего не знаю. Что, например, происходит сейчас во Вьетнаме? Все то же? А в арабских странах?»

Заговорили об Израиле, евреях, о поветрии отъездов.

«Я этого не понимаю, — сказал он. — Я всегда был убежденный ассимилятор. Я считаю, что, если еврей живет в Англии, он должен быть англичанином, в России — русским. Вот у моего сына уезжает один сотрудник, кандидат наук. Но он о нем особенно не жалеет. Говорит, это необычайный эрудит, но эта эрудиция не переходит в более самостоятельные идеи. [Сын у него биолог, изучает развитие вирусов в клетке.] А вообще, говорит мой сын, сейчас можно жить, можно заниматься своей работой. Особенно не мешают. Попросил у начальства новое оборудование — ему выписали. Есть и такая точка зрения. А вот моя дочь — она профессор, доктор наук (фармаколог-кардио-

лог) — говорит, что у них в институте очень плохая обстановка. Приходят по часам, уходят по часам, чашку чая нельзя выпить: солдатчина, казарма. И очень мало хороших работ. Был конгресс кардиологов, наши представили жалкие доклады. Есть хорошие терапевты-кардиологи, их интересно было слушать».

Упомянули Евтушенко.

«Он мне много рассказывал про всякие мировые события, и все они вертелись вокруг него, Евтушенко. Рассказывал, что во Вьетнаме у сбитого американского летчика нашли карту, и на ней в одном месте было написано Евтушенко-road (дорога Евтушенко). Впрочем, он и присочинить может.

Трифонов рассказывал мне, как он советовался с покойным Твардовским, стоит ли отдавать рассказ в «Новый мир». Отчего же, говорит, давайте. Если хороший рассказ, все равно не напечатают, а плохой — не все ли равно, где печатать?..»

10. 10. 73. Вчера был у Каверина. Он немного постарел, но работает много (сегодня работал пять часов, даже в моем возрасте это очень много и не всегда удается). Пишет вторую книгу мемуаров... Заметил, что сейчас в литературе произошли благоприятные сдвиги, стало возможно писать о личном. Например, в последнем номере «Звезды» появился рассказ Баранской: «Вы не читали? Я не сравниваю по уровню, но по типу это совершенно чеховская вещь. Или Битов — у него же нет ничего от социалистического реализма». Упомянул также новую работу Белова, которая печаталась в «Севере».

Мне это было немного странно. Я сказал, что не считаю Баранскую таким уж показателем сдвига; о личном дозволено писать уже последние лет пятнадцать, а то и больше.

«Нет, вы это недооцениваете, — сказал он, — вы не помните сталинские времена».

Я сказал, что появились работы, действительно обозначившие новое самосознание пишущих, в частности в мемуарной литературе. Тут я упомянул Н. Я. Мандельштам. Он помрачнел.

«Вы не читали вторую книгу ее воспоминаний?»

«Нет».

«Это черт знает что, это политический поклеп, ругань. Я ей написал по этому поводу большое письмо. Она оскорбила Тынянова, многих других. Она может писать: этот дурак Булгаков. Да что говорить! Л. К. Чуковская пишет в ответ целую книгу...»

Спросил, что я пишу. Я отдал ему сказку. Он одобрил, что я берусь за новые жанры. Узнал, что я написал статью, тоже попросил оставить...

Поговорили о политике... В девять часов включил радио, слушал «Немецкую волну», многозначительно приподнимал брови при некоторых известиях, оглядывался на меня. Милый старик. Он (как и все, наверное) живет в круге сравнительно замкнутом. Я смотрел на него уже более трезво и самостоятельно, чем два года назад, его литературные вкусы скорее озадачили меня, чем произвели впечатление...

Дал мне читать две новые книги: повести и «Собеседника». Дарить не стал: маленький тираж...

15.10.73. Читаю «Скандалиста», которого дал мне Каверин. Как это, оказывается, теперь неинтересно!

3.10.74. У Каверина. Известие о внезапной смерти Шукшина, сорок два года... Воспоминания о Тынянове (19 октября ему восемьдесят лет, выходят две книги). Как Лидия Николаевна была с ним, когда он болел свинкой, и не заразилась. Как его секретарша записывала за ним два года каждое его слово, потом она умерла, а дневник погиб, остался только один листок (он будет напечатан в книге).

«А я в своем самодовольстве не записывал за ним, — сказал Каверин. — Впрочем, он был так близко... как брат. Есть ли в русской советской литературе человек, так совмещавший блистательного писателя и такого же ранга ученого?» Вспомнил, как Тынянов сдержанно отзывался о его работах, будучи настоящим учителем. «Ты все-таки писатель». «Все-таки» — это по поводу очень дорогой мне книги «Черновик человека». Или, прочитав первые три страницы, отталкивал рукопись и не читал дальше. Или, принеся рассказ как на подносе, говорил: «Нобелевская премия обеспечена».

Оставил ему «Гоголя».

«Хотите знать, что я думаю о Гоголе? — сказал он. — Что это лучший из всех писавших когда-либо на русском языке».

Лидия Николаевна — старушка все-таки — рассказывала о своих болезнях (опоясывающий лишай)...

31.10.74. Поехал к Каверину.

«Я бы сделал из этой повести большой рассказ, — сказал он. — Ведь идея, замысел чрезвычайно интересны: рассказать читателю, как Гоголь воспринял смерть Пушкина. Я, например, не знал или забыл, что он был в это время в Риме... или Париже?.. Это очень интересно. Но вы допустили какой-то композиционный просчет. Сначала, примерно на треть, у вас идет затянутое вступление: какой-то карнавал, какие-то разговоры в ресторане. Но вот наконец он узнал о смерти Пушкина. И вместо того чтобы рассказать о его потрясении, вы продолжаете разговор с какими-то двумя собеседниками, какие-то анекдоты, совершенно ненужные. Вы очень подробно описываете этих собеседников, но, несмотря на это, они не производят у вас впечатления реальных лиц... И лишнее все это. Вот там, где возникает разговор Гоголя с Пушкиным, это у вас прекрасно. Понимаете, вы умеете писать, весь этот карнавал написан ярко, пестро, в духе Судейкина. Но у меня такое впечатление от этой и от других ваших работ, что вы, как конькобежец, подлетаете к теме и тут же отлетаете. (Я в свое время много занимался коньками.) Не чувствуется мысли. Может быть, она как-то запрятана, но от читателя требуется большое усилие, чтобы ее уловить. А я сейчас больше всего ценю в прозе мысль... Если бы это был черновик моей собственной работы, я бы сделал так...»

И дальше он мне стал советовать, как усовершенствовать композицию повести... Говорил долго... Я потом попытался объяснить, как хотел изобразить мир Гоголя и что значат карнавал, разговоры в ресторане, оба двойника, которые и есть реакция на известие; это мир, обернувшийся гримасой. Он слушал с интересом, но потом сказал: «Вот видите, мне кажется, что у вас все возникает из мысли, что идея предшествует работе».

БОГ И НАЦИЯ

Разговоры с С. И. Липкиным

27.02.79. Зашел к Копелеву, там был Искандер, лежала газетенка «Московский литератор» с откликами на «Метрополь»⁴. Полторы полосы дерьма, подписанного разными именами. Особенно меня огорчил Залыгин (почему-то я от него этого не ждал): он единственный обрушился на Попова, назвав его рассказы «стоящими вне литературы»; другие Женю не трогали. Откуда у этих людей уверенность в своем праве определять, кому жить в литературе, кому нет? Рассказы самого Залыгина в последней «Дружбе народов» не выдерживают никакого сравнения с рассказами Попова, это очень слабая литература — но мне в голову не придет запретить Залыгину печататься. Розов: «Мы, конечно, не можем этого напечатать». Мы! Михалков: «Писатели союзных республик, которых переводил Липкин, задумываются, не поискать ли им другого Липкина». Какая уверенность, что всегда найдется другой Липкин! И антисемитизмом, конечно, попахивает...

30.10.80. ...Заехал к Копелеву. Там были Липкин с Лиснянской...

Разговор о визите Кани⁵ в Москву. В Белоруссии якобы мобилизовали пять возрастов, ГДР закрыла границу с Польшей. Введут войска или нет? Если введут, будет мировая война. Хочет ли руководство войны? Я сказал, что нет.

— Мне кажется, вы относитесь к этим людям (руководству), как Толстой к своему Холстомеру, — возразил Липкин: —

⁴ Альманах «Метрополь» — сборник неподцензурных текстов разных литераторов, среди которых были Е. Попов, С. Липкин, И. Лиснянская. После того, как Е. Попов и Вик. Ерофеев за участие в составлении альманаха были исключены из Союза писателей, С. Липкин и И. Лиснянская в знак протеста из него вышли. На много лет они потеряли возможность публиковаться.

⁵ Тогдашний президент Польши

вы приписываете им человеческие чувства. А у них логика другая, не человеческая.

— Инстинкт самосохранения — это не человеческое чувство, — заметил я...

Липкин спросил у Комы⁶, почему Христос молился «авва отче», то есть два раза на двух языках произнес одно и то же слово? Кома отвечал, что это сложный вопрос: на каком языке говорил Христос? Вероятно, на арамейском; возможно, где-то существует подлинник Евангелия на древнееврейском языке. И перед смертью, обращаясь к отцу, он вспомнил язык своего детства, а в Евангелии эти слова растолковали для читателя, который этого языка уже не знал, то есть дали сразу и слово, и перевод...

24.6.81. ...Из рассказов Липкина. «Когда Анна Андреевна хлопотала за Бродского, она обратилась за помощью к Наровчатову. Тот конечно, не помог. Меня это очень удивило. Он тогда не был даже влиятельной фигурой, так сказать, подполковник, но не генерал. Я спросил ее, почему она все-таки обратилась к Наровчатову? И знаете, что она мне ответила? «Он красивый».

25.4.88. ...Позвонила Инна Лиснянская, я поехал к ней и Липкину...

Книг у них не предвидится: им не предлагают, они сами не ходят и не хотят. Все, что до сих пор было напечатано в журналах — это по инициативе журналов. «Противно ходить, — сказал Липкин. — У меня тяжелый опыт. Моя первая книга вышла, когда мне было 56 лет». Сейчас оба переводят Кайсына Кулиева: нужны деньги...

— Когда я пишу стихи, — сказал Липкин, — у меня хорошее настроение, а сейчас я перевожу, у меня тоска. Я перестал флотировать — знаете этот химический термин? Когда обогащают руду, доводят в ней содержание нужного металла с 30 до 60—70%, этот процесс называется флотацией. Раньше он мне давался легко, а сейчас я перевожу, лишь бы имело вид. Но это не съедобно...

⁶ Вячеслав Всеволодович Иванов.

По его сведениям, на июнь общество «Память» обещает еврейский погром. «Значит, они чувствуют покровительство. Погромы всегда происходят под покровительством властей. Потому что погромщики трусы». И он рассказал историю погрома, который устроил в Одессе атаман Григорьев. Их предупредил о нем старый знакомый, городской. Он уже предупреждал его отца, социал-демократа-интернационалиста, закройщика, когда к нему должны были придти арестовать. Значит, городской знал, и власти знали. Они прятались в подвале у мадам Шестопал, владелице магазина церковной утвари. «Но это был уже не 905-й год. Евреи организовали отряды самообороны, на Молдаванке шла стрельба, и до нашего квартала просто не дошло».

Рассказывал, как встречался с Клюевым в доме Клычкова. Его приводил Мандельштам. (Наверно, об этом он сейчас пишет в воспоминаниях). Клычков объявлял, что еврей не может быть русским поэтом. Немецким, французским, каким угодно, но русской страны он по природе не может понять. «Он не был антисемитом, но таково было его убеждение. И любопытно, что Клюев ему возразил. Нет, сказал он, а чей был сын тот, кто «в рабском виде исходил, благословляя» нашу землю? Жидовочки.

«Мандельштам, — говорил Клюев (коверкая эту фамилию) — поэт, а Пастернак (тоже коверкая) — спичечный коробок, но без спичек».

Рассуждал о национальных проблемах.

— Я считаю, что империя обречена на распад. Когда-то в Средней Азии к русским относились хорошо, по крайней мере, интеллигенция. Но все время росла ненависть к русским. Особенно после коллективизации. В Средней Азии многие бедняки имели большие участки земли. Главное — вода, орошение. И много было скота, особенно в Казахстане. Там бедняк-бедняк имел 200 овец. Их всех сослали. И знаете, большую роль, как ни странно, сыграл пример Израиля. Хотя, казалось бы, это враг мусульман. Но они видели: маленькая страна на полупустынной земле сумела устоять против более многочисленного и сильного врага, и живет неплохо. Там через бухарских евреев многие имеют родственников. А бухарские евреи породнены с узбеками, та-

джиками. К евреям в Средней Азии лучше относятся, чем к русским. Я объясняю это чисто марксистски. Русские и евреи пишут для них диссертации. Сами они ничего не могут написать, даже по гуманитарным наукам, не говоря о математике или физике. Но русский, написав кандидатскую диссертацию, требует для себя докторскую, или высокую должность — там для них предусмотрен определенный процент. А евреи знают, что ни на что не могут претендовать. Разве что напишут свою кандидатскую — если еще не кандидат. Или проще всего деньгами. Или попросит устроить дочку в медицинский институт. С ними проще.

Введение русского алфавита оказалось катастрофой, особенно для поэтов. Дело в том, что там стихосложение связано с тонкостями долготы и краткости, которые можно передать только арабским алфавитом. Там существует 90 основных размеров, их когда-то учили в медресе. Сейчас самый образованный поэт знает 3-4, ну 5 размеров. Я знаю один. Иранцы смеются.

О идиш. Многие древнееврейские слова вошли через идиш в воровской жаргон. Например, хаза, шмон, мусор. Хохма — тоже древнееврейское слово, оно родственно имени Хикмет, что означает: мудрая мысль. А что такое душман? Враг. А басмач — следующий за зеленым знаменем мусульман.

31.10.88. ...Заехал к Лиснянской и Липкину. Липкин утром был в «Дружбе народов», там планируют издать его «Декаду». Спросил, чем он занимается.

— Во-первых, пишу стишки. А во-вторых, делаю странную работу: делаю по научному переводу Дьяконова поэтический перевод «Гильгамеша». Без всякого заказа. Эта работа вряд ли будет напечатана, тем более Кома мне сказал, что Дьяконов считает свой перевод поэтическим. Но я давно это хотел сделать, уже несколько лет этим занимаюсь. Перевел из 11 песен (или таблиц, как правильно их называет Дьяконов) 8. Пусть после моей смерти останется. Я ведь готовлюсь уходить. Это великое произведение, и оно много говорит моей семитской душе.

Там много грубости, эротической грубости. Я придумал одно строфическое решение...

— А мемуары?

— Отложил. Я вдруг почувствовал, что многого не помню. Я хотел написать про встречу с Клюевым, и вдруг почувствовал, что помню общее содержание его речей, но не помню конкретных слов. А у него очень своеобразная речь. Я сделал глупость, что в свое время не записал. Еще недавно, до операции, мне казалось, что я все точно помню. А после операции вдруг оказалось, что забыл...

12.1.89. ...В «Литературной газете» рассказывают, что Липкин передал издательству хранившийся у него экземпляр Гроссмана. Я вспомнил, как спрашивал у него: кто же это сохранил роман? Да, это очень интересно, — отвечал он. Но я уже с молчаливого намека Лены Макаровой⁷ об этом догадывался.

5.2.89. ...С Галей в ЦДЛ на вечер Липкина... Прекрасные стихи, некоторые я услышал как будто впервые, так мощно они прозвучали. Это крупный поэт... Подарил свои книги ему и для передачи Л.К.Чуковской, с надписью, где рассказал историю 1972 г. (когда у Анатолия Якобсона при обыске изъяли рукопись моего «Прохора Меньшутина», которую он хотел ей показать)⁸.

16.4.89. ...Вечером в ЦДЛ на вечер Инны Лиснянской... Инна в красивом зеленом платье, которое ей привезла из Америки Лена, выглядела очень достойно, читала хорошо, да и стихи хорошие... Поговорил с Липкиным, он сказал, что читает мою книгу второй раз. «И как?» — спросил я. «Ausgezeichnet!»⁹ — ответил он почему-то по-немецки...

25.4.91. ...Позвонил Липкину, договорились встретиться. Он пишет стихи и воспоминания, опять жалуется, что память отказывает. «Не могу вспомнить точную прямую речь, это раздражает, а в раздражении писать нельзя». Очень хвалил мою книгу. «Но это не рассчитано на массовый успех»...

⁷ Лена Макарова, писатель, исследователь, педагог — дочь И. Лиснянской

⁸ Речь идет о моей первой книге, сборнике «День в феврале» (1988), в которую вошла и повесть «Прохор Меньшутин».

⁹ Отлично! (нем.)

29.3.99. Разговор с С. И. Липкиным. Обсуждали недавние бомбардировки Югославии, резню, которую устроили сербы в Косово, говорили о национальных страстях и безумствах, о мусульманском самоощущении.

Липкин: Они все помнят, ничего не забывают. Был когда-то такой турецкий город Бердыш, там изготовлялось оружие, которое так стало и называться. Теперь это Бердичев...

— Как, Бердичев был турецким Бердышем? Я не знал.

— Но вы же знаете, что и Одесса была турецкой. Конечно, у них все это отвоевали, и сами турки завоевали полмира, переименовали Константинополь в Стамбул. Но они помнят, что и этот город принадлежал им... Я жил когда-то во дворе, превращенном в коммунальную квартиру, там обитали 60 семей, а когда-то дом принадлежал одному известному промышленнику... вот, с возрастом стал забывать фамилии... (Время спустя вспомнил и вставил: Гоншин. И он жалуется на память!) От этого семейства осталась в живых одна старуха, ее сын женился на женщине по фамилии Калинина и взял ее фамилию. Он совершенно не помнил о своем происхождении, и никто не знал, кому принадлежал этот дом. Но старуха помнила все подробности: вот здесь была столовая, в этой комнате детская, там комната для гостей, наверху жила прислуга. Помнила, что было во всех пристройках и надстройках. Она никогда этого не забывала. Так же и с национальной памятью...

Я много бывал в разных наших мусульманских республиках, со мной и при мне говорили откровенно, я для них был не русский, а еврей. Я перевел татарский эпос «Идегей», его не разрешили печатать, я для татар был такой же пострадавший, как они сами. О русских все говорили с ненавистью. Никто не сделал для национальной вражды больше, чем большевики. До революции мусульманские и другие меньшинства готовы были жить с русскими, они были для них носителями высокой европейской культуры, через Россию был выход в мир. Революция все это уничтожила. Ленин ничего не понимал в национальных делах, и они его не интересовали, но Сталин очень хорошо в этом разбирался, умел натравить один народ на другой; взаим-

ная вражда помогала держать в руках власть. Это для нас церкви уничтожали большевики, для мусульман мечети и медресе уничтожали русские, они запретили священные книги на арабском языке, ввели кириллицу, которая совершенно не была приспособлена к фонетике их языков. Вслух они могли говорить что угодно, но память о религиозных святынях молча хранили...

Я знаю, как хоронили Рашидова, узбекского партийного секретаря, члена Политбюро. Его хоронили, как положено, приехала из Москвы делегация, тоже какой-то член Политбюро, похоронили по-язычески, возле здания республиканского ЦК. А ночью могилу раскопали, надели на труп чалму, халат, прочли, как полагается, молитву и закопали снова...

— Я никогда об этом не знал. (И странно, что никто не написал сейчас).

— А вы и не могли этого знать. Этого никто не знал. Мне рассказывала вдова Рашидова. Я был знаком с его семьей...

Или возьмите Дагестан. Там живут 30 наций. И было твердо установлено: первым секретарем ЦК должен был непременно быть аварец. Аварцы — самый многочисленный народ Дагестана. Но если дочь первого секретаря хочет поступить в университет, то и ректором университета должен быть аварец. Значит, если лезгин или кумык хочет устроить ребенка в университет, он должен идти к аварцу. Так устанавливается национальная неприязнь. Лезгины живут на границе с Азербайджаном, говорят на тюркском языке. Они ведут речь о создании особой республики, лезгинской. И есть маленькая народность, таты, их тысяч 10. Это горские евреи, иудейского вероисповедания, и внешность характерная, иудейская. Они были знаменитые виноделы. Дагестанские коньяки — это их изделия, мусульманам пить вино запрещено. Лезгины призывают татов присоединиться к своему Лезгинистану, преследуют, избивают. Многие уже уехали в Израиль, но кто-то остался. Или кумыки. Когда в Дагестан переселились чеченцы-агинцы, они выселили кумыков, жителей равнины, им теперь негде жить, они живут у родственников, кто где может. И так везде. Эти межнациональные разно-

гласия при общей вражде к русским в конце концов непременно взорвут Россию, я не вижу другой перспективы...

— Но вот Фазиль Искандер мне рассказывал, как у них в одном дворе жили мингрелы, греки, абхазцы, жили друг с другом мирно, знали на бытовом уровне какие-то слова из языков друг друга — Фазиль тоже немного знал.

— Фазиль прав в отношении одного маленького двора, но он упускает из виду одно обстоятельство: он принадлежал к титульной нации. Это очень важно. Во дворе надо жить мирно друг с другом, не воевать же. Но с какой-то мелочи могут начаться конфликты. Вы знаете, как начались события в Абхазии? Один грузинский профессор написал научную статью — совершенно правильную — где рассказывал, что абхазцы, входившие в более обширное семейство адыгов, переселились на свою нынешнюю территорию в 17-м веке. Абхазцы утверждали иное, они ссылались на Геродота, который будто упомянул их в качестве древних жителей этой местности. И вот в селе Лыхны — это своего рода священное место для абхазцев — началось стихийное возмущение, демонстрации, в грузин стали кидать камнями... А потом и пошло.

(И сербы, и албанцы жили вроде бы мирно, подумал я, а теперь режут друг друга).

— А вы ждали такого развития событий лет 30—40 назад? — спросил я. — Мне казалось, человечество в конце тысячелетия становится более единым, современная цивилизация уменьшит национальную рознь. Живут же в других странах люди разных наций?

— Я ждал, потому что я много имел дела с разными народами. Я их переводил, я знал, какая в них кипит ненависть. В 1946 г. я попал в Киргизию, я переводил «Манаса», и там встретил своего старого знакомого Кайсына Кулиева. (Назвал еще одно, менее известное мне имя, я забыл). Их народы были сюда высланы. Они привели меня к себе домой. Я говорил с людьми, которые были со мной откровенны — я для них был не русский, а еврей. Удивительно: вернувшись в Москву, я рассказал об этом Василию Гроссману. Вы знаете, что это за

человек. Мы тогда были еще на «вы». И когда я ему рассказал о том, что увидел, он в сомнении проговорил: «Но, может, это было вызвано военной необходимостью?»

— Гроссман?! — воскликнул я.

— Да. Я ему ответил: я посмотрю, что вы скажете, когда так же будут высылать евреев. «Высылать евреев в нашей советской стране?» — «Да, в нашей фашистской стране».

— Вы уже в 46-м году могли сказать о нашей стране «фашистская»?

— Да, я уже многое понимал. Может, на меня влияли воспоминания. Мой отец был меньшевиком. Я многое видел. В 43-м году, уже после Сталинградской битвы и Курской дуги, в августе или начале сентября, сейчас точно не помню, нас, военных журналистов, собрали в ЦК. Выступал Щербаков. Он стал говорить, что в войне произошел перелом, мы движемся на запад, и надо немного изменить характер наших газет, помещать в них иногда веселые, развлекательные материалы, шутки, чтобы солдаты могли посмеяться. «Но только без одесчины», — угрозил он пальцем. И когда началась компания против космополитов, появилась статья «об одной антипатриотической группе литературных критиков», Гроссман позвонил мне и сказал: «Сволочь, ты оказался прав»...

Память важна для всех народов. Вы знаете, что у Ленина один дедушка по матери был еврей, а одна бабушка по отцу была калмычка? Она была дочерью купца третьей гильдии по фамилии Карпов — ну, он, как отец Чехова, содержал в Астрахани небольшую лавочку. У Ленина была некоторая слабость к калмыкам, он ведь помнил бабушку. У него есть известное обращение к калмыкам. Калмыки тоже были разные. Есть калмыки-буддисты, и были еще астраханские калмыки, они входили в Астраханское казачье войско. Когда калмыков выслали, часть их территории передали Астраханской области — это как раз те прибрежные области Каспийского моря, где получают богатую осетровую икру, вы знаете эти астраханские баночки. Ну, отняли землю, так отняли, уже ничего не поделаешь. Но когда калмыки вернулись из ссылки, они решили обратиться в Астра-

ханский обком партии, чтобы те установили мемориальную доску на лавке бывшего купца Карпова: «Здесь родилась бабушка Владимира Ильича». Лавка сохранилась, мне ее показывали. Маленькая лавка, похоже на одесскую Молдаванку. Вроде бы верноподданническая коммунистическая идея: речь все-таки о Владимире Ильиче. Астраханский обком подумал, подумал и в просьбе отказал. Калмыки возмутились, написали письмо в Центральный комитет. Те тоже подумали — и тоже отказали. Калмыкам пришлось проглотить — но они и этого не забыли. Это же для них гордость: большевик, не большевик, им все равно. Но бабушка Ленина была наша, пусть и православная, это неважно.

Интересное замечание. Я упомянул, что эпизод на близкую тему есть в моем эссе «Три еврея»: про то, как Карабчиевский в Армении оказался свидетелем неприязненного суждения о русских и на вопрос: а вы кто? — после раздумья ответил: «А вот не скажу».

— Он так ответил? — удивился Семен Израилевич. — Не знаю, как это звучало для армян, но для мусульман это было бы оскорблением. Так нельзя отвечать...

30.3.99. С. И. Липкин заметил, что не считает себя образованным человеком. А если хоть немного и образован, то обязан этим прежней гимназии, в которой проучился полтора года.

Это он-то, переводивший с персидского, тюркского и других языков, знающий народы, культуры, религии, он, великий знаток русской поэзии (и стихосложения), цитирующий наизусть поэмы! Конечно, этим он обязан самообразованию, он мог учиться у великих поэтов-современников, близко знал Ахматову и Мандельштама...

Липкин считает Есенина более культурным, чем Маяковский: у него не было образованности, но была связь с народной крестьянской традицией, а тот — просто городской дикарь.

Я подумал: раньше четко разделялись сословные уровни; культуру с образованностью совмещало, как и сейчас, меньшинство. Но прежняя народная культура (основанная на религии, традициях) была не тем же, что нынешняя массовая. И все-

таки: поп-ансамбли — это культура? Телевизионные игры и ток-шоу — это культура? Компьютерные игры — это культура?

1.4.99. Читаю Липкина. Он четко сформулировал главный интерес своей жизни: «И ныне меня по-настоящему, сильнее и прочнее всего интересуют, волнуют, мучают, восхищают только два нераздельных явления — Бог и нация». И это с раннего детства...

10.4.99. Немного работал. Читал «Записки жильца» Липкина: значительная книга... Широкий охват, разнообразный жизненный опыт, чувство эпохи. Между прочим, по-другому понимаешь собственное время: все нынешнее воровство, даже бандитизм все-таки больше человечны, понятны, чем абсурдная идеологизированная жестокость режима, которая превращала людей просто в подлое быдло. Об этом и многом другом я сказал Семenu Израилевичу, позвонив ему по телефону. Между прочим, спросил, насколько его мысль выражает один из героев, называя гениями лишь тех, кто понятны всем, как Гете или Шекспир, в то время как великие, но не гениальные могут быть понятны немногим избранным? Он в ответ рассказал, как смотрел в еврейском театре Одессы переделку гетевского «Фауста» (и Шекспира тоже), как зрители плакали и смеялись.

— Но ведь так же смеются и плачут над нынешними телевизионными сериалами, «мыльными операми», — сказал я. — И воспринимали они упрощенные переделки Гете, самого Гете они вряд ли могли понять. И разве Мандельштам — не гений, понятный немногим?

— «Нет, — сказал он, — Мандельштам не гений. У нас было три гениальных поэта: Пушкин, Лермонтов и Тютчев. Они понятны всем.

Тут я возразил, что для понимания Пушкина понадобились годы, при жизни его не все понимали.

— Надо подумать, — сказал он.

Он читает сейчас биографию Тютчева, написанную младшим Аксаковым, там цитируются французское письмо, где Тютчев утверждает, что русский народ как народ христианский не

может быть жестоким. А в 18-м году крестьяне жестоко и бессмысленно разграбили его имение. Он ошибся.

Хорошо, что я прочел его роман после мемуаров — стала заметна автобиографическая основа. Он кое-что уточнил. Отдаленный прототип Гринева — Лурье-Ларин, он был с ним знаком. Про катакомбы ему рассказывал человек с итальянской фамилией Скалатто. Он уехал с родителями в Аргентину; в Одессе мать имела меховой магазин, отчим был ювелиром. Там отчим их бросил, они бедствовали, он вернулся в СССР, в Одессу. Там и остался во время войны, попал в катакомбы, про которые сочинил свой роман Катаев, рассказывал, что это было на самом деле. «Вам надо написать о Платонове», — напомнил я. «Я пишу». — «И про Ойстраха, его отца-булочника вы так интересно рассказывали. Напишите». — «Память стала плохая»...

1.4.03. Вчера умер С. И. Липкин. Вышел погулять, почувствовал себя плохо, упал. Легкая, быстрая смерть. Ему шел 92-й год.

ИСТОРИЯ БЫЛА РЕАЛЬНО ПЕРЕЖИТА

Разговоры с Г. С. Кнабе

С Георгием Степановичем Кнабе мы познакомились летом 1977 года в Литве, в тихом поселке Качергине, недалеко от Каунаса, куда приехали отдыхать с семьей. Позвал нас туда Исаак Моисеевич Яглом, профессор математики, для нас просто Изя. Моя жена Галя когда-то училась у него, с тех пор он стал нашим близким другом. Одним из его прекраснейших свойств была способность собирать вокруг себя людей. С его подачи в Качергине вскоре приехал кто-то еще из знакомых, тот позвал своих, образовалась небольшая интеллигентская компания. Так появился Кнабе. Днем мы занимались своими делами, вечерами вместе прогуливались по единственной длинной улице, мимо

дачных домов, окруженных соснами, беседовали на разные темы.

Литовские хозяева почтительно называли Кнабе профессором, особое их уважение вызывало то, что Георгий Степанович говорил по-литовски. На самом деле он тогда не был даже доктором наук, ему много лет не давали защитить диссертацию. На обычные в те годы разговоры о политике он не откликался, помалкивал — жизнь научила осторожности.

Со временем я многое о нем узнал. Здесь ограничусь лишь некоторыми дневниковыми записями, которые по привычке вел много лет, пользуясь стенографической скорописью. Сейчас можно лишь посетовать на их чрезмерную краткость, приходится кое-что комментировать, дополнять, насколько позволяет память. Но они ведь делались не для других, для себя. Знавшие Кнабе или читавшие его могут сопоставить эти записи со своими впечатлениями, что-то для себя уточнить, дополнить. Сокращения обозначены простыми многоточиями.

17.07.1977. *Kačergine*. После первых уединенных дней жизни собралось целое общество... Георгий Степанович Кнабе все-рзез выспрашивал, нет ли у меня воспоминаний о моих предыдущих воплощениях. Я отшутился, попросил пояснить. Он ответил: я с детства владею, как родным, французским языком, даже раньше, чем русским, но когда пишу по-французски, испытываю затруднения, хотя орфография здесь проще, чем в английском. Английским я овладел много позже и знаю его несравненно хуже французского, но пишу на нем без всяких затруднений. Что это значит? Что-то есть во мне от прошлых воплощений. Другой пример: я знал человека, который совершенно не мог ориентироваться в идеально распланированном современном городе, таком, как Нью-Йорк, но чувствовал себя, как дома, впервые попав на запутанные улочки турецкого города, где европеец даже через два года не может разобраться. Тут я возразил: памяти о современных распланированных городах не может быть ни у кого. Он засмеялся: да, это действительно не доказательство.

В переселении душ был убежден еще Платон. Он говорит в «Пире», что в предыдущем рождении был цветком и девушкой. Последнее объясняет его любовь к юношам.

С Ягломом Кнабе продолжал начатый до меня разговор: можно ли говорить о какой-то общей духовной структуре 20-го века, которая роднит и современную математику, и современную литературу в том же смысле, в каком можно говорить, что герои Расина действовали по тем же законам, на которых строится логика Декарта?

Яглом сейчас читает private лекции по геометрии своему сыну Жене и [моему сыну] Алеше... Своими диссидентскими разговорами он приводит в смущение молчащего Кнабе.

А следующим летом мы опять оказались в Качергине, возобновились наши интеллектуальные прогулки-беседы. Перипатетики, сказали бы древние греки.

22.07.1978. *Kačergine*. Вчера вечером небольшая прогулка и разговор с Кнабе и Ягломом. Рассказ Кнабе о Пензе¹⁰... Его мысль о том, что гениальность писателя можно измерить, как отношение достигнутых им вершин ко всему написанному. (Бывает, что человек кроме одной великой вещи и нескольких хороших стихов написал много посредственного; меньше всего это можно сказать о Пушкине). Яглом сослался на критерий математики: есть разные типы ученых; можно оценивать достижения ученого либо по простору площади, которую он покрывает, либо по вершинам. Мне кажется, что о величии художника вообще нельзя судить изолированно от культурного значения его для времени.

Кнабе о замысле статьи, не доведенной до печати: об усвоении культуры и идеологии Римской империи в Николаев-

¹⁰ Помнится, Георгий Степанович сказал, что в Пензе не увидел ни одного интеллигентного лица. Он вообще любил ездить. Из Качергине выбрался как-то в Клайпеду, говорил, что она произвела на него сильное впечатление. А в чем это впечатление? — попытался выяснить я (сам в Клайпедe не был). — Ганза, — ответил коротко Кнабе.

ской России (именно империи, а не республики: архитектурные идеи и пр.)...

23.07.1978. Разговор с Кнабе о том, что деятели французской революции при всем своем республиканизме неосознанно ориентировались на римскую империю и цитировали Цицерона. Я вдруг подумал: цитировать и подражать можно было вообще только Риму. Чтобы подражать Греции, надо было обладать крестьянской простотой, которой не могло быть у позднего, то есть подражающего и цитирующего общества...

5.08.1978. Касергине. Вечерняя прогулка с Кнабе. В истории реально действуют поколения (одновременно 5, с разницей в возрасте 10—15 лет), которые отличаются друг от друга не только идеями, но прежде всего чем-то трудно выразимым, бытовым: манерой одеваться, представлением о культуре, отношением к истории — приметам, которые позволяют им понять друг друга, но делают чуждыми людей другого поколения...

И снова Москва.

3.9.81. Вечером разговор по телефону с Кнабе (я попросил его перевести несколько цитат из Плиния¹¹). В Качергине, по его словам, было многовато народа, «так что наши вечерние прогулки напоминали марши, только барабанов не хватало». Рекомендовал журнал «Декоративное искусство», в котором, по его словам, исследуется современная история в ее вещных проявлениях: статьи о промыслах, о современном китче. Удивился, узнав, что я не смотрел фильм «Москва слезам не верит»: это, может быть, не интересно с точки зрения искусства, но социологически это очень интересно, в том числе природа его успеха не только у нас, но во всем мире.

Я стал довольно часто заезжать к Георгию Степановичу. Он как преподаватель ВГИКа получил квартиру в кооперативном доме кинематографистов на Аэропортовской улице.

¹¹ Я переводил тогда с немецкого книгу Г. Форстера «Путешествие вокруг света», там было много цитат на разных языках, в том числе на латинском.

Квартира, помнится, была двухкомнатная, я бывал только в одной, за стеной лежала, насколько я знал, больная мать Ревекки Борисовны, ее я никогда не видел. Почти никакой обстановки, книжные полки, стол. На небольшом пюпитре возле письменного стола обычно лежала книга, раскрытая на иллюстрации. Один раз это была картина какого-то итальянца эпохи Возрождения, другой — к моему удивлению — работа в духе социалистического реализма. Видимо, Кнабе в ту пору что-то писал на связанную с ней тему, разглядывал, наверно, подолгу, вдумывался. Как мог разглядывать рекламу джинсов Levis, о чем немного дальше.

Не обходилось, конечно, и без угощения, обычно с выпивкой. Коньяку Георгий Степанович предпочитал хорошую водку.

25.5.83. Заглянул к Кнабе... С большой пользой поговорил с ним.

— Сейчас укрепляется отличное от XIX века понимание истории. Помимо идеологических, политических и других элементов становится ясно, что история осуществляется во взаимодействии конкретных людей друг с другом, в семье, в отношении к вещам, в интересе, в поведении маленьких групп.

Новый период истории можно датировать примерно 56-м годом. Это год XX съезда — но кроме того, в это примерно время из разных концов страны в Москву для поступления в вузы стало приезжать все больше молодых людей, не связанных с прошлыми традициями и прошлыми ценностями, интеллигентны в первом поколении, которые заявили о своих правах. Старая арбатская интеллигенция оказалась оттеснена. Это совпало с успехами химии, которая смогла создавать дешевые ткани, предметы обихода, доступные молодежи без большого заработка. Этот процесс примерно в те же годы происходил во всем мире. Символом его можно считать рекламу фирмы Levis: молодежь в джинсах на фоне Тюильри. (Показал мне эту рекламу). По бедрам и ногам этой вот молодой особы вполне можно судить о ее простонародном происхождении. Закончился этот пе-

риод примерно в 68-м году — это год оккупации Чехословакии и распада группы Биттлз: события исторически равноценные...

Для истории важно, какие человек носит штаны. Николай I не случайно морщился при виде фраков: в эпоху военной формы фрак был символом свободомыслия, выпадения из системы. И это можно проследить на многих примерах...

3.3.84. Вечером звонил Кнабе, он заканчивает работу о роли вещей в истории культуры.

До чего опять сейчас жаль, что записывал так коротко!

12.12.84. Две любопытные статьи Кнабе: о том общем, что создает стиль и мироощущение эпохи, что объединяет философию и бытовые проявления. Для Рима это было представление о неизменной сущности и меняющейся оболочке, для нашего времени — существенны не дискретные явления, а поле, энергия, воля и т. п. Многое было мне знакомо по нашим устным разговорам.

16.2.85. Поехал к Кнабе, привез ему почитать «Меньшутина»¹², он подарил мне журнал со своей статьей о вещах. Разговор на эти и другие темы.

Об «Альтисте Данилове»: как и книга Соловьевой о Немировиче-Данченко, он указывает на перелом в традиции русской литературы, которая полтора века видела свою честь и назначение в противостоянии властям; теперь это себя исчерпало, обсуждается более глубокая возможность жизненного самоосуществления независимо от обстоятельств...

О том, что 60-е годы (которые он определяет периодом 1955—68 с небольшим «последствием») сейчас раскрывают себя как «великая эпоха культуры», смысл которой, среди прочего, в поисках более непосредственных, неофициальных возможностей жизни; ее приметы — хиппи, битлы, Франсуаза Сган, дешевые химические материалы, экономический расцвет, политические надежды. Начало этого периода совпало с 20-м

¹² Моя повесть «Прохор Меньшутин» тогда существовала только в рукописи

съездом, конец — с распадом группы Beatles, оккупацией Чехословакии, парижскими баррикадами. Характерно, что ни один крупный представитель 60-х годов их не пережил (как я понял, творчески: назывались имена Феллини, Антониони).

О Трифонове: он реакционен, его не интересует современная жизнь; оглядываясь в прошлое, он видит идеалистов-революционеров, надежды которых оказались разбиты, а современность — вырождение, упадок нравов и т. п. «Характерно, что никто из его героев не живет на Арбате». Арбат, по его понятиям (это была тема лекции, на которую я не сумел пойти) — цитадель московской интеллигенции, которая воспряла в 30-е годы и восстанавливала, поддерживала культурную традицию, пусть на невысоком уровне (на стенах квартир висели портреты Чехова и Толстого, не больше), но они определяли культурное лицо эпохи. О путевых заметках Трифонова: что он видел в Италии? Тетушку, бежавшую из Ростова и до сих пор обсуждающую те времена. В Финляндии он находит каких-то старых большевиков, видевших Ленина. Европа, живая, пульсирующая плазма, в которой происходят великие события, его не интересует.

О фильме про Евтушенко, который снимал какой-то югослав, где Евтушенко жалуется на уходящую популярность, пытается понять причины.

1.3.85. Вечером на лекцию Кнабе (Арбат как культурно-историческое явление)... Кое-что я уже знал из разговоров, но теперь все сложилось для меня в довольно стройную систему взглядов и методов, и эта система выглядит убедительной и интересной, хотя можно спорить по частностям. Например, с утверждением, что в 30-е годы произошло восстановление культурной традиции, прерванной в 20-е годы Пролеткультом, и это позволило «арбатской» интеллигенции вернуться к активной деятельности. 20-е годы скорей продолжали творческую традицию и поиски 10-х годов (в театре, живописи, поэзии) и совпадали с развитием во всей Европе; в 30-е годы именно это развитие было искусственно прервано, провозглашены принципы «социалистического реализма», в живописи произошло возвращение к передвижникам, закрылся театр Мейерхольда и пр.,

«кончилась поэзия» (по выражению Пастернака) и т. д. Другое дело, что «арбатская» интеллигенция, возможно, увидела в этом возрождение своих вкусов и была «допущена» к культурной жизни; но это доказывает ее невысокий, провинциальный уровень...

И уже времена перестройки.

11.6.86. ...Приезжал Кнабе, привез мою рукопись... Изменений в культурной и цензурной политике он не предвидит. Когда какие-то сотрудники экономического института, приняв всерьез разговоры о повороте к новому, попробовали предъявить для публикации свои лежавшие без движения работы, цензор сказал: «У меня инструкции остались неизменными; как закрывал я эти темы раньше, так закрою сейчас»...

Обменялись впечатлениями о вечере Самойлова. Он считает, что выбор «залива»¹³ обернулся для его поэзии утратой связи с развивающейся жизнью. Ему не понравилась его манера держаться перед публикой. «Он не заметил, что в зале уже другой народ, более молодой, другой социологический и антропологический тип; он разговаривать с ними не захотел».

Сейчас я, между прочим, удивляюсь тому, как много среди моих близких друзей и знакомых было людей, существенно старше меня. Кнабе, Померанц, Самойлов, Сидур, Ант, Копелев, Вяч. Вс. Иванов, Б. Хазанов, И. Лиснянская и С. И. Липкин, Лиля и Сима Лунгины. Я в ту пору был человеком совершенно никому не известным, меня не печатали, моя первая книга вышла в 1988 году, когда мне был уже 51 год — чем я мог быть интересен этим уже заявившим о себе людям? А ведь не просто охотно со мной общались, звали в гости, приезжали ко мне сами, брали почитать рукописи, передавали другим. Теперь, когда многие из них ушли, я не без грусти обнаруживаю, что вокруг меня почти

¹³ Имеется в виду стихотворение Д. Самойлова «Залив»: «Я сделал свой выбор. Я выбрал залив, / Тревоги и беды от нас отдалив, / А воды и небо приблизив, / Я сделал свой выбор и вызов».

нет людей младше (если не считать компании моих детей). Причина, должно быть, во мне.

Среди только что названных стоит выделить соучеников Кнабе по знаменитому ИФЛИ: Самойлова, Померанца, Лунгину; я знал еще и других. Лилиана Лунгина в своем известном «Подстрочнике» рассказывает о Георгии Степановиче много интересного. Среди прочего, как его исключали из партии по инициативе еще одной соученицы, Раисы Орловой, жены Льва Копелева (тогда у нее была другая фамилия). Я эту историю знал, с Копелевым и Орловой тоже дружил. По мнению Лунгиной, Кнабе это исключение в конечном счете пошло только на пользу, служебная карьера оказалась для него закрыта, он нашел свое подлинное призвание в науке.

14.4.89. ...Вечером к Кнабе... Завел с ним свой разговор о «возможности гения». Он считает, что возможностей для подлинной духовной жизни сейчас нет, потому что не стало народа, чувство связи с которым в России всегда питало художника. (А не в России? — подумал я. Что значит народ для таких любимых его писателей, как У. Эко или М. Юрсенар?)

Обменивались впечатлениями о состоянии западной культуры и учености. Кнабе считает, что там высокий уровень академической учености, но хуже другой уровень, который он назвал «средним» и который может связать ученый или филологический поиск с общественно-политическим (а я бы сказал: экзистенциально-духовным) измерением. Он видит надежду в рок-группах (какие у них славные лица!), ходит на их концерты. (Представляю, как странно он выглядел среди юнцов). Но когда я заговорил с ним о своих конкретных впечатлениях, отнюдь не отрадных, он со мной согласился...

23.7.90. ...В четверг приезжал Кнабе за книжкой, которую я ему подарил. Долго рассуждал о «нашей способности жить одновременно в реальной жизни и системе мифов. Т. е., упоенные словесными переменами, мы не замечаем, как эта система со своими отрядами в черных рубашках и защитной форме перегруппировывается, чтобы уничтожить нас. Вы думаете, такой ге-

нерал Макашов со своим личным самолетом, «Чайкой», дачами, тремя любовницами и т. д. и т. п. добровольно уступит все это? Маркс учит нас, что господствующие классы так просто власти не отдают» — и т. д. в том же духе. Я сказал: «Если мне с вами согласиться, значит, мне просто надо уезжать». — «Конечно, без всякого сомнения. Я в моем возрасте — другое дело, мы тут заложники... Кстати, вы не слышали, говорят, доктор Крелин¹⁴ тоже собрался уезжать?» Я стал отвечать ему, что возможность, о которой он говорит, действительно существует потенциально, но вовсе не обязательно должна реализоваться. Один из доводов в пользу оптимизма — что она не реализовалась до сих пор. И есть примеры другого развития... Мне показалось, он слушал меня не без удовольствия — всякому (как и мне) хочется услышать хоть какие-то успокаивающие, обнадеживающие доводы. Но что я могу утверждать?

13.1.93 ...Вечером позвонил Г. С. Кнабе, поздравил с премией¹⁵, очень умно рассуждал о симптоматичности этого выбора... О новом понимании истории: прежде она концентрировалась или структурировалась революциями, царями и т. п., сейчас как бы растеклась в повседневную жизнь, стала историей быта, костюма, повседневных отношений. Провинция стала действительно очень важным понятием... — нет, всех изящных и сложных ходов его мысли я воспроизвести не могу, но он подтверждал ее ссылками на мою прозу, о которой никогда со мной не говорил, из чего я мог заключить, что он относится к ней весьма всерьез...

8.1.94. ...Вечером говорил по телефону с Кнабе. Он очень доволен работой в Гуманитарном университете, обстановкой, научным уровнем. Хорошо говорил о моих книгах: «Изображение революции в романе много говорит и о современной ситуации. Кроме того, вы поставили, может быть, основной философский вопрос современного знания: о возможности составить це-

¹⁴ Врач и писатель Юлий Крелин, мой добрый друг.

¹⁵ Речь идет о Букеровской премии, которая мне была вручена в декабре 1992 г. В романе «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», за который была присуждена премия, обсуждается «провинциальная философия» героя.

лостный образ из отдельных частных». Договорились встретиться, пообщаться.

13.9.94. ...Вечером на презентацию романа в Библиотеку иностранной литературы... Очень интересно говорил Кнабе (о том, что у меня соединяется потребность личности в автономности и необходимость общественной структурированности).

18.7.98. ...Вечером долго говорил по телефону с Г. С. Кнабе на темы постмодернизма, который, по его мнению, еще долго будет определять культурную ситуацию. Скепсис к любой истине, любой положительной ценности, отсутствие общей системы затрудняет даже возможность принимать экзамены у студентов. Они не считают нужным читать те книги, которые рекомендует он. (Больше студентов смотрят фильмы на видео: визуальная информация воспринимается с большей готовностью). Любые свои суждения считают истиной потому, что они так считают — и т. п. На Западе, кажется ему, система более устойчивая. В то же время, когда я спросил его, кажется ли ему, что уровень его западных коллег-профессоров выше, чем уровень его здешних коллег, ответил: «Конечно, ниже». — «Как же так? — спросил я. — У них не прерывались традиции, как вы только что говорили, не уничтожались школы. На чем выросли вы — и они?» — «Есть такая вещь, как капитализм, — ответил он. — Конкуренция выдвигает вверх не самых лучших». И рассказал о конкурсе на преподавательское место во Франции, где победил не самый достойный кандидат, пользовавшийся поддержкой влиятельных кругов. Я не очень понял, при чем тут постмодернизм; но говорить было интересно.

28.5.02. Развез несколько своих книжек¹⁶... Заехал к Кнабе. Говорил с ним три часа, записать содержание разговора трудно. Одна из мыслей: стало невозможно преподавать студентам систему знаний, их не интересует система, историческое развитие и т.п. Все равноценно, все взаимозаменяемо. Традиционная культура Европы чужда все растущему числу приезжих, африканцев, мусульман. События 11.9. — важный, может быть, переломный момент, люди ощутили угрозу. Протест против гло-

¹⁶ Речь идет о «Стенографии конца века».

бализации — также протест против ситуации, которую Кнабе называет постмодернистской. На мой вопрос, есть ли аналогия с периодом упадка Римской империи (гедонизм, проникновение варваров, которые не становились римлянами), ответил отрицательно. Там еще действовали традиционные принципы, законы, были те же боги; варвары становились римлянами и получали посты уже в третьем-четвертом поколениях и т. д. Конец Римской империи принесло христианство. (Я подумал: а может быть, ту же роль сыграет теперь ислам?)...

29.5.02. Читал брошюру Кнабе «Перевернутая страница» — о крахе русской интеллигенции. При всех испытаниях советского времени интеллигенция, по его словам, «сохранила веру в разум истории и гуманизм культуры. И только в последние годы XX века на нее надвинулись испытания, которые оказались несовместимыми с самой ее сущностью... То были испытания долларом, утратой самоидентификации, обесценением научной истины». С первой составляющей сравнительно ясно, вторая почему-то связана с общественным служением, без которого нет интеллигенции. Что касается третьей, тут интересно то, что относится к гуманитарной области. Вот характеристика из справочника по постмодернизму: «Истина основывается на тех искусственно выстроенных аргументах, в которые поверил создатель аргументации, и живет за счет круговой поруки тех, кто согласился эту истину разделить». Я бы тут заменил слово «поверил» — может быть, сконструировал, вера тут ни причем, но ситуация (в литературе, в критике, филологии, философии) мне знакома... Кнабе чувствует себя оказавшимся не в своем времени — это неизбежно в определенном возрасте, надо это осмысливать.

31.12.06. Позвонил, поздравляя с Новым годом, Померанцу, Апту, Баткину, Кнабе... Кнабе упомянул поэта Наума Басовского, которого считает самым значительным после Самойлова и Окуджавы. Я нашел его стихи и прозу в «Иерусалимском журнале». Действительно, очень хороший поэт, я прежде прочел его как-то рассеянно. Я в ответ упомянул ему книгу Пирса «Сон Сципиона», он заинтересовался.

6.1.07. ...Послал цикл «Исторические руины» Кнабе.

12.3.07. ...Вечером позвонил Кнабе: «Я созрел для разговора с вами» (по поводу стихов, посланных еще в январе). Дикция затрудненная, мысль, кажется, тоже. Предложил встретиться на неделе. Грустно.

17.3.07. ...Неожиданный звонок от Кнабе, предложил договориться о встрече. Я записал код, собрался прощаться. «Значит, завтра от трех до четырех?» — повторил на прощанье. «Да. Мы договорились созвониться по телефону или встретиться?» — неожиданно уточнил он. «Как по телефону?» — опешил я. «Но ведь надо сначала созвониться, предварительно обговорить». — «По телефону можно обговорить сейчас». — «Ах, так? — согласился он. — Хорошо, давайте поговорим».

И начал получасовую блистательную лекцию на тему моих «Исторических руин». Я пробовал иногда стенографировать на подвернувшихся листках, но долго за ним не поспевал, и стенографирование отвлекало от смысла. Воспроизведу хотя бы немного, отчасти по записям, отчасти по памяти.

«Ваш текст производит очень сильное впечатление. Он прекрасно написан, передает душевное состояние человека, который видит противоречивость истории. С одной стороны, все предстает как недостоверный образ, но с другой стороны, эта история была реально пережита». Он повторил это несколько раз, приводил пример: «Я помню начало войны, когда мы все кинулись в военкоматы, в искреннем порыве защищать Родину. Потом мы узнали, сколько во всем было фальши, лжи и прочего — но ведь было и то, что мы пережили. Нельзя говорить: это правда, это ложь. Моя память живет во мне — и она живет вне меня, в некой исторической реальности. Это коллизия всей философии памяти, и она осмыслена вами трагически. Вы замечательно передали эту боль — не хочется говорить отчаяние — боль, трагизм, страдание. Вы знаете то, что знаете, знаете, чем стало событие в ходе вашего развития. Образ не совпадает с тем, что было в прошлом... Мы с вами познакомились в 60-е годы (*на самом деле в 70-е*). Очень значительное, интересно пережитое нашим поколением время. С одной стороны, мы радовались

переменам, мы легко открывались друг другу. С другой стороны, прошло 30 лет, и этот образ — не буду говорить потускнел, это индивидуально, но он изменился». И снова: «Вы пережили и передали основу и смысл истории». И еще раз о воспоминаниях начала войны. О Паустовском: это замечательный писатель, и неправильно говорить, что он описывал Колхиду, но не заметил, как «черные Маруси» увозили арестованных. Несколько раз о воспоминаниях А. Я. Гуревича: он все время разоблачает. Каким антисемитом был министр, как его преследовали. Историю не надо разоблачать...

Сказал, что сейчас читает лекции на тему исторической памяти, мифа, попросил разрешения сослаться на мои стихи. Я сказал, что был бы восхищен и благодарен, если бы он выстроил свою лекцию, опираясь на цитаты из моих стихов, это была бы для меня честь. Разрешения спрашивать не надо, стихи были напечатаны. А если бы он об этом написал — я же не могу на слух запомнить все его мысли. «Никто не сможет это осмыслить, как вы»... Не знаю, воспринял ли он мой намек. Договорились, что пригласит меня на лекцию, которую посвятит этой теме, где-то в начале апреля. На том и распрощались. «Ну, мы все, кажется, обсудили, — сказал он. — Завтра не надо встречаться».

Чувствуется некоторая спутанность логики (все-таки ему под 90) — но какую блистательную лекцию (монолог) посвятил он моим стихам!

10.8.07. В альманахе «Вторая навигация» интересные материалы о кризисе постмодернистской концепции, которая была особенно влиятельной последние два десятка лет... Георгий Степанович Кнабе пишет о другой стороне проблемы — об идентификации. Человек, неповторимый индивид, личность, вместе с тем всегда ощущает свою принадлежность к социальной и культурной общности, сознательно или подсознательно различает «свое» и «чужое». Для постмодернизма культурная традиция, принимаемая обществом как «своя», кажется чем-то предосудительным, антигуманным, несовместимым со свобод-

ным духом. Поощряется «мультикультурность», «политкорректность», отказ от стилей, традиций и пр.

«В этой ситуации инстинкт человечества властно требует того, чего нет, — той идентификации, что утрачена в цивилизации постмодерна», пишет Кнабе. Он цитирует предсказание Умберто Эко: «В следующем тысячелетии Европа превратится в многорасовый или, если предпочитаете, в многоцветный континент. Нравится ли вам это или нет, но так будет». В человеке, однако, заложено знание о «своем» и «чужом», напоминает Кнабе. Миллионы «европейцев и американцев — не расисты и не ностальгирующие реакционеры; они просто хотят жить в стране своих дедов и прадедов и идентифицироваться с ней». Когда оказываются подорваны, упразднены какие-то насущные связи, человек культуры «уступает пространство истории чему-то противоположному идентификации и культуре — нетерпимости».

Это мы сейчас и наблюдаем — не всегда осознавая причины.

30.10.08. Вчера поздно вечером посмотрели по ТВ фильм о Г. С. Кнабе. Я осознал, как давно его не видел: лицо оплыло. Ему около 90. Но выглядел бодро, говорил прекрасно (об атмосфере времени, которая определяется повседневным бытом, частной жизнью, и не совпадает с тем, о чем пишут газеты и говорит радио). Знакомая тема, я недаром много лет пользовался привилегией его частных лекций, когда мы вечерами прогуливались по Качергине, или за столом у него дома, или у меня на лоджии, когда он ко мне однажды заехал из своего ВГИКа...

16.10.09. ...Поехал в Центр русского зарубежья на презентацию альманаха «Вторая навигация».... Пришли авторы: Померанц (я весь вечер сидел с ним рядом, немного поговорил), Кнабе, Доброхотов, Кантор, Дубин, Ахутин, в таком же порядке Блюменкранц приглашал всех выступить. Говорили весьма интересно, я пожалел, что все это осталось не записано, можно было бы опубликовать, как материалы конференции. Пересказать не берусь, разве что наблюдение Кантора о том, что словом «Наши» — как «бесы» у Достоевского называли членов своей

организации (глава «У наших»), наименовали сейчас прикремлевскую молодежную организацию, которая устраивает разные пакостные шабашки. Большого для их характеристики не надо, сказал Кантор. (Странно, как другие до сих пор этого не заметили). Да еще рассуждение Кнабе о «четырех словах», которые объединяют собравшихся: «текст» (теперь без цензуры), «интеллигенция» (исчезнувшая или исчезающая), «Европа» (которую назвал «растерянной») и — неожиданно для меня — «стиль». Это слово, сказал он, вызывает мысль не только о литературном качестве текстов, но о римском «стилосе», палочке, которой писали, т.е. оставляли след, и этот след оставался запечатленным. Тут у меня, грешным делом, возник вопрос: ведь стилосом писали по восковой дощечке, след его потом за ненадобностью как раз затирался. Но спрашивать, конечно, не стал. Приятно было видеть, как бодр Георгий Степанович.

Я, выступая, сказал, что мне, литератору, не культурологу и не философу, участие в альманахе позволило соприкоснуться с кругом идей, формирующих мироощущение, стимулирующих мысль. За несколько лет сложилось ядро более-менее постоянных авторов, среди них немало близких мне лично людей, в советское время мы с ними вели многочасовые беседы на темы, которые теперь обсуждаются печатно, вспомнил о своих долгих беседах с Померанцем, частных лекциях Кнабе. Не знаю, велик ли у альманаха тираж — какую роль для культуры может играть деятельность небольшого круга? И помянул зацепившие меня когда-то слова Дубина о том, что культурный прорыв не может быть героизмом горстки людей, он должен сопровождаться структурными устройствами. (Творчество единиц «не порождает ни нового словаря, ни новых принципов, ни системы мысли»)

22.3.10. ...Поздно вечером еще неожиданный звонок: Г. С. Кнабе. Трубку взяла Галя, он говорил с ней. У него проблемы с закупоркой сонных артерий, сознание иногда плывет, надо оперировать, удалить бляшку. Узнал (от кого, интересно?), что у меня была такая операция, спрашивал о моем опыте. Но ему 90 лет, трудно советовать. При всем том работает по утрам, хотя

быстро устает. Галя меня к телефону не стала звать, почувствовала, что он под конец разговора устал.

23.3.10. Позвонил Кнабе: не поделитесь ли вы своими впечатлениями об операции, не со мной, а моим врачом? Я сказал: ну, дайте ему мой телефон, я все расскажу, если ему интересно. Вы хотите, чтобы он вам позвонил? — он немного смутился. Сказал, что даст врачу мой телефон. Тот, конечно, не позвонил. Почему он подумал, что врачу могут быть интересны мои впечатления? Не может решиться на операцию, я в 90 лет тоже бы не решился. Грустно — и как близко! Речь уже немного плывущая.

1.12.11. ...Умер Г. С. Кнабе, на 92-м году жизни. Узнал я об этом случайно, сообщили только на сайте «Свободы». Баткин в некрологе сказал, что как человек Георгий Степанович был значительней того, что он писал. (Хотя и писал прекрасно.) Один из существенных для меня людей.

О сборнике «Памяти Г. С.Кнабе», т. 1-2, Харьков, «Права человека», 2014¹⁷

Интересна переписка Кнабе с живущим в Израиле поэтом Наумом Басовским. Басовский для Кнабе — поэт русский, выросший на русской культуре, не совсем естественным кажется его существование в Израиле. «Какие есть основания думать, — пишет Кнабе, — что Ваши стихи в целом по духу своему, на цвет и на ощупь, выросли не из спрессованного в Вас пережитого опыта второй половины XX века, а из «вековых качеств народа в целом»? Не из ночных мокрых московских мостовых, где «синий троллейбус вершит по бульварам кружение», а из духа Иоава, Бар-Кохбы или Бен Галеви, либо и вовсе из мира Бабеля, Свирского и Бергельсона?» — пишет он Науму Басовскому.

Тот в ответ весьма убедительно рассказывает о семье, родителях — обо всем своем жизненном опыте, включая, конечно, антисемитизм, которые привели его к «ощущению и осознанию общности судьбы с еврейским народом» и сделали для него

¹⁷ См. <https://imwerden.de/razdel-449-str-1.html>

естественным отъезд в Израиль. Что не отменяло связи с русской, европейской культурой.

(Это из писем 2001 г. Ср. в моем тексте запись 23.7.90, на десять лет раньше. Я в разговоре спросил Кнабе: «Значит, мне просто надо уезжать?», и тот мне ответил: «Конечно, без всякого сомнения. Я в моем возрасте — другое дело, мы тут заложники». Сам он в любой стране европейской культуры чувствовал бы себя, как дома.)

На близкую тему — из письма Г. К. М. Кагану: «Космополитическая кампания была не просто мерзостью, но мерзостью, рассчитанной на растление души. Если душа, в конечном счете, все-таки выстояла, то почему? Да потому, что бесконечное сидение в библиотеках и бесконечное число прочитанных книг — великих книг! — откладывались в душе, составляли устойчивый фон, постепенно, по ходу жизни сквозь последующие десятилетия затмевавший узоры, наложенные на него теми годами и теми мерзостями. «Блажен, кто ведал вдохновение высоких мыслей и стихов». (17.12.2002)

В переписке с Н. Немцовой Кнабе размышляет о нынешней моде на «толерантность». Существует «деление на данное и иное, пишет Г. С., т. е. на освоенное, свое, привычное, и чужое, непонятное и враждебное, короче на мы и они. Толерантность живет на этой грани, становясь формой добра и открытости другому, человеческой солидарности и/или безвольной уступкой всему враждебному и угрожающему, т. е. амнистией зла». Сейчас воцаряются представления, более навязанные, чем осмысленные, в умах, возникает «полная растерянность, надежда, что всё как-нибудь образуется, а главное, чтобы никого ничем не обидеть, если ты останешься самим собой. Господствующее на Западе общественное мнение дважды идет по тому же пути. Во-первых: главное — никакого использования силы, т. е. не защищать себя, только толерантно уступать. Процент европейцев, осуждающих Израиль за то, что он не хочет быть уничтоженным, дошел до 59». (Письмо 15.5.04)

И еще одна грань той же темы — в письме проф. Шауманну (4.8.09). Кнабе пишет о своей работе «Современная Европа и ее антично-римское наследие». «Основная, господствующая мысль текста состоит в том, что этот строй бытия в истории и в обществе на наших глазах иссякает, заменяясь дисперсией, где частицы утрачивают энергию индивидуальности, тем самым энергию взаимодействия, а значит и историческое измерение общественно-культурного бытия, всегда укорененное в истории. Подтверждение этого — на каждом шагу». «Глобализация предполагает уравнивание частиц и их взаимную независимость, чтобы не сказать безразличие».

И в письме Немцовой 21.1.09: «Европейцы получают то, что заслужили, и то ли еще будет». Звучит как итог темы.

Здесь лишь начальные, выборочные впечатления, в мир этого незаурядного мыслителя и замечательного человека еще предстоит углубляться и углубляться. Этот замечательный сборник стоило бы прочитать многим. Тираж двухтомника — всего 300 экз., но текст уже есть в интернете. А пока что, в заключение, грустный человеческий штришок:

«Вы не представляете себе, дорогие, как мы одиноки, — пишет Георгий Степанович Немцовой (25.5.06) — К нам ходит довольно много народу, но все это «разнообразные не те», как выражался когда-то Евтушенко». Ревекка Борисовна была еще жива. Вдвоем — но все равно одиноки.